

ТОМАС

МАНН

Иосиф и его братья
Том 2



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Зарубежная классика (АСТ)

Томас Манн

Иосиф и его братья. Том 2

«ФТМ»

«АСТ»

1943

УДК 812.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

Манн Т.

Иосиф и его братья. Том 2 / Т. Манн — «ФТМ», «АСТ»,
1943 — (Зарубежная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-102578-6

«Иосиф и его братья» – масштабная тетралогия, над которой Томас Манн трудился с 1926 по 1942 год и которую сам считал наиболее значимым своим произведением. Сюжет библейского сказания об Иосифе Прекрасном автор поместил в исторический контекст периода правления Аменхотепа III и его сына, «фараона-еретика» Эхнатона, с тем чтобы рассказать легенду более подробно и ярко, создав на ее основе увлекательную историческую сагу.

УДК 812.112.2-31

ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-17-102578-6

© Манн Т., 1943

© ФТМ, 1943

© АСТ, 1943

Содержание

Иосиф в Египте	6
Раздел пятый	6
Иосиф прислуживает и читает вслух	6
Иосиф растет словно у родника	12
Амун косится на Иосифа	17
Бекнехонс	21
Иосиф все больше превращается в египтянина	27
Отчет о скромной смерти Монт-кау	36
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Томас Манн

Иосиф и его братья. Том 2

Печатается с разрешения издательства S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main.

© Katia Mann, 1967

© Bermann-Fischer Verlag GmbH, 1936

© Bermann-Fischer Verlag AB, Stockholm, 1943

© Перевод. С. Апт, наследники, 2017

© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

Иосиф в Египте

Раздел пятый Благословенный

Иосиф прислуживает и читает вслух

Знаете ли вы, как улыбаются и опускают глаза люди низкого звания, когда, непонятным для них образом, на их взгляд несправедливо, возносят и повышают в чине какого-нибудь человека из их среды, с которым у них вот уж никак не связывалось таких ожиданий? Эти улыбки, эти переглядыванья, эти потупленные взоры, то смущенные, то ехидные, то завистливые, а то и снисходительные, пожалуй, даже восхищенные прихотью счастья и начальства, Иосиф замечал в ту пору изо дня в день: впервые заметил тогда в саду, когда сообщили, что его хочет видеть Монт-кау – из всех именно его, какого-то верхолаза, какого-то мальчишку, подсаживающего метелки, – а потом уже замечал на каждом шагу. Ибо теперь началось вознесенье, и притом очень многообразное вознесенье его главы: если он, как утверждает наша история, сделался приближенным Потифара и тот постепенно отдал весь свой дом на руки евреянина, – то все это было уже подготовлено и, как зародыш, заключено в словах Монт-кау, все это было заложено в них, как заложено в ростке медленно, долгие годы растущее дерево, и требовалось только время, чтобы все это развилось и свершилось.

Итак, Иосиф получил серебристый набедренник и венки, положенные слугам столовой палаты, и незачем говорить, что это убранство придало ему весьма привлекательный вид. Именно такой вид и должны были иметь рабы, допущенные прислуживать Петепра и его семье во время трапез; но этот сын миловидной выделялся среди них еще какой-то высшей, не сводившейся к простой миловидности красотой, в которой духовное и физическое начала соединялись и возвышали друг друга.

Ему было указано место позади кресла Петепра на помосте, но сначала – у каменной площадки в противоположной, узкой стороне комнаты, где стена была выложена каменными плитами и где стояли бронзовые кувшины и кружка. Когда члены сиятельной семьи входили в столовую, будь то из северного покоя или из западного, на этом, снабженном ступенькой возвышении им поливали руки водой; обязанностью Иосифа было сливать воду на маленькие и белые, в перстнях с печатками и в кольцах с жуками руки Потифара и подавать ему благоуханное полотенце. Покуда господин вытирал руки, Иосиф должен был быстро пройти по циновкам и пестротканым половикам к подмосткам в противоположном конце комнаты, где стояли кресла хозяев – священных родителей с верхнего этажа, а также их сына и Мут-эм-энет, госпожи. Там он становился за креслом Потифара, дожидался хозяина и потчевал его кушаньями, которые подавали ему, Иосифу, другие слуги в серебристых набедренниках. Ибо сам Иосиф не бегал взад и вперед, принося и унося блюда, он только передавал то, что вносили другие, другу фараона, который, таким образом, принимал все, что выбирал и ел, из его рук.

Столовый покой был высок и светел, хотя дневной свет проникал сюда не непосредственно, а только из смежных помещений, особенно из западной наружной палаты, через семь имевшихся здесь дверей и через окна над ними, в которые были вставлены плиты из прозрачного, красиво просвечивавшего камня. Дневной свет усиливали очень белые стены с расписными фризами у столь же белого потолка, разлинованного голубыми балками, в которые упирались пестрые возглавья деревянных, окрашенных в голубой цвет и покоившихся на круглых

подножьях колонн. Голубые колонны были изящным украшением, да и все в будничной столовой Потифара было изящно, красиво, отличалось веселой нарядностью и роскошеством: хозяйские кресла из черного дерева и слоновой кости, украшенные львиными головами и обложенные вышитыми пуховыми подушками, благородные светильники и треножки для курений у стен, вазы, сосуды для мирры, обвитые цветами кувшины с большими ручками на особых подставках и все другие предметы барского обихода, какими блистала эта палата. В середине ее находился довольно большой поставец, высоко, как жертвенник Амуна, уставленный кушаньями, которые передавались слугами-разносчиками слугам, непосредственно подающим, и которых было слишком много, чтобы вельможная четверка на помосте могла хотя бы с грехом пополам справиться со всеми этими жареными гусями, утками и говядиной, овощами, пирогами и хлебами, огурцами, дынями и сирийскими фруктами, разложенными самым соблазнительным образом. Среди блюд возвышалась золотая настольница, новогодний подарок фараона, изображавшая храм среди диковинных деревьев с обезьянами на ветвях.

Во время трапез в столовой раздавались только приглушенные звуки. Босые ноги слуг неслышно ступали по подстилкам, а беседа господ была, ввиду их взаимной почтительности, немногословной и тихой. Они предупредительно наклонялись один к другому, предлагали друг другу между переменах блюд понюхать цветок лотоса, подносили ко рту соседа то или иное лакомство, и нежная эта заботливость внушала тревогу. Кресла были расставлены попарно, с небольшим промежутком. Петепра сидел рядом с той, что его родила, а Мут, госпожа, рядом со старым Гуием. Не всегда показывалась она в том виде, в каком впервые явилась перед Иосифом во дворе, проплывая мимо него на носилках, – с посыпанными золотой пылью кудрями настоящих своих волос. Она часто носила спускавшийся ниже плеч парик, голубой, золотистый или русый, весь в мелких-премелких завитках, отороченный снизу сученой бахромкой и увенчанный плотно прилежавшей к нему диадемой. Прическа, немного похожая на головную повязку сфинкса, сердцевидно извивалась по белому лбу; с обеих сторон на щеки падало по нескольку прядей или кистей, с одной из которых Мут-эм-энет иногда играла, своеобразно окаймлявших это и без того своеобразное лицо, где глаза никак не соответствовали рту, ибо они были строги, хмуры и малоподвижны, а рот извилист и странно углублен в уголках. Обнаженные, белые, словно бы художниками Птаха высеченные и лошенные, прямо-таки божественные руки, которыми орудовала госпожа за едой, были на близком расстоянии не менее замечательны, чем издали.

Друг фараона ел своим изящным ртом весьма много, отдавая должное каждому блюду, ибо такая башня из плоти требовала и соответствующего подкрепления; кроме того, за любой трапезой приходилось многократно наполнять его кубок содержимым длинношеего кувшина, так как вино усиливало в нем, видимо, чувство собственного достоинства и веру в то, что он, несмотря ни на какие происки Гор-эм-хеба, самый настоящий военачальник. Госпожа, напротив, обхаживаемая своей изящной и тоже очень нарядной служанкой в тонком, как паутина, платье, под которым – не дай бог увидеть это отцу, Иакову! – на ней не было почти ничего, – Мут-эм-энет, напротив, ела без особой охоты, являясь в столовую, по-видимому, только обычая и порядка ради: она брала, например, жареную утку, откусывала, еле открыв рот, небольшой кусок от грудной части и бросала ее к объедкам... Что же касается священных родителей, которым прислуживали уже знакомые нам дурочки (ибо они терпеть не могли взрослой прислуги), то эти просто ворчали и брюзжали и сидели за трапезой только из приличия, так как им достаточно было двух-трех кусочков какого-нибудь овощного блюда или печенья, причем Гуий всегда беспокоился, как бы не взбунтовался его желудок и его, старика, не прошибло холодным потом... Иногда на ступеньке помоста, у ног хозяев, сидел и грыз что-нибудь Бес-эм-хеб, Боголюб, холостой карлик, хотя вообще-то он ел за лучшим людским столом, где кормились также сам Монт-кау, смотритель одежной Дуду, главный садовник Краснопузый и несколько писцов, одним словом – старшие слуги дома, и где вскоре стал кормиться Иосиф, именуемый Озар-

сифом слуга-хабир; и иногда этот потешный визирь забавно плясал в своем измятом наряде вокруг поставца. В дальнем углу покоя обычно сидел старик-арфист, который медленно перебирал струны узловатыми пальцами и что-то невнятно напевал. Он был слеп, как полагалось певцу, и немного умел предсказывать будущее, но только с запинками и неточно.

Вот как проходили повседневные трапезы Петепра. Телохранитель часто бывал у фараона во дворце Мерима'т, на другом берегу реки, или же сопровождал бога, когда тот на царском своем струге направлялся вверх или вниз по Нилу для осмотра каменоломен, рудников и построек на суше и на воде. В такие дни застольная служба отменялась, и голубой покой пустовал. Если же господин бывал дома, то по окончании полуденной трапезы с ее многочисленными изъявлениями взаимной нежности, когда священные родители, с помощью своих прислужниц, ковыляли на верхний этаж, а их невестка, схимница луны, либо уходила в покой, отведенный ей в главном здании и отделенный от спальни ее супруга северной колонной палатой, либо на львиных своих носилках и в окружении слуг удалялась в Дом Замкнутых, – Иосиф следовал за Потифаром в одну из соседних комнат, представлявших собой просторные помещения с расписными полупроемами в трех стенах и с легкими колоннами вместо четвертой, передней: в северную, что переходила в столовую и приемную широкой своей стороной, или в западную, еще более красивую, так как из нее открывался вид на сад, на деревья сада и на возвышение беседки. Зато у северной комнаты было то преимущество, что оттуда господин мог видеть хозяйственный двор, амбары и стойла. К тому же она была прохладнее.

И там и здесь имелись великолепные вещи, которые Иосиф разглядывал с той смесью восторга и насмешливого сомнения, какую всегда вызывала в нем высокая культура земли Египетской: то были милостивые дары фараона своему числящемуся полководцем слуге, вроде той золотой настольницы в трапезной, расставленные по ларям и по полкам и развешанные по стенам, – маленькие статуи из серебра и золота или из черного дерева и слоновой кости, изображавшие все как одна царственного дарителя Неб-ма-ра-Аменхотеп, приземистого толстяка в различных украшениях, венцах и прическах; бронзовые сфинксы – опять-таки с головой этого бога; всяческие изваяния животных – например, бегущее стадо слонов, сидящие павианы, газель с цветами в зубах; драгоценные сосуды, зеркала, опахала и плети; но прежде всего оружие, воинское оружие в большом количестве и всевозможных видов: топоры, кинжалы, чешуйчатая броня, обтянутые мехом щиты, луки и бронзовые серповидные мечи; и было удивительно, что фараон, хоть и преемник великих завоевателей, но сам уже отнюдь не воин, а предприимчивый строитель и богатый князь-миротворец, так подарил боевым снаряжением своего царедворца – этого рувимоподобного великана, который тоже, казалось, отнюдь не рвался топить в крови племена смолоедов и жителей песков.

Среди убранства этих покоев были также красивые, с резными изображениями, подставки для книг, и когда Потифар вытягивал громаду своего тела на изящном диванчике, казавшемся под его тяжестью особенно хрупким, Иосиф подходил к ним, чтобы предложить хозяйину выбрать какой-нибудь свиток для чтения, например, приключения моряка с погибшего корабля на острове чудовищ; историю о царе Хуфу и Деди, который мог срastить с туловищем отрубленную голову; правдивую и подлинную историю о завоевании города Иоппе верховным военачальником его величества Мен-хапер-Ра-Тутмоса Третьего Тути, велевшим внести в город пятьсот воинов в мешках и корзинах; сказку о царском сыне, которому хатхоры предсказали, что он примет смерть от крокодила, змеи или собаки, – или еще что-нибудь. Выбор был велик. У Петепра было прекрасное, разностороннее собрание книг, размещенное на поставках обеих палат и состоявшее отчасти из занимательных сказок, подобных «Войне кошек и гусей», отчасти же из сочинений диалектического характера, таких, как воинственно-резкая переписка между писцами Гори и Аменемоне, из религиозных и магических текстов и ученых трактатов на темном, искусственном языке, списков царей от эпохи богов до эпохи иноземных пастушьях владык с указанием времени правления каждого сына Солнца и летописью достопа-

мятных событий, включая чрезвычайные повышения налогов и важнейшие годовщины. Были здесь также «Книга о дыхании», книга «О пути через вечность», книга «Да цветет имя» и ученая топография потустороннего мира.

Потифар знал все это назубок. Если он слушал, то только чтобы еще раз услышать знакомое, как слушают одну и ту же музыку. Такое отношение к книгам было вполне понятно, ибо в подавляющем большинстве этих сочинений содержание и фабула почти ничего не значили и весь упор делался на красоты слога, на изысканность оборотов речи. Иосиф, который либо сидел, подобрав под себя ноги, либо стоял на покоем на кафедре возвышения, читал превосходно: плавно, правильно, внешне непритязательно, со сдержанным драматизмом и столь естественно владея словом, что самые трудные, самые книжные места приобретали в его устах легкость импровизации и разговорную удобопроизносимость. Его чтение проникало в сердце слушателя, и нельзя понять его возвышения в глазах египтянина, возвышения, известного лишь самим своим фактом, упустив из виду эти часы чтений.

Часто, впрочем, Потифар вскоре задремывал, убаюканный этим ломким, но приятным голосом, который говорил с ним так ровно и так умно. Но часто Потифар бдительно вмешивался в чтение, поправляя выговор Иосифа, обращая и свое, и чтеца внимание на художественные достоинства какой-нибудь риторической прикрасы, подвергая услышанное литературной критике или же выясняя точный смысл какого-нибудь темного места вместе с Иосифом, чье остроумие и толковательский дар всегда его восхищали. Со временем обнаружилось личное пристрастие господина к определенным произведениям изящного искусства – например, его слабость к «Песне уставшего от жизни в похвалу смерти», которую он, по мере того как умножались дни чтения, то и дело приказывал читать вслух и где смерть однозвучно-тоскливо сравнивалась со множеством приятных и вызывающих нежность вещей: с выздоровлением после тяжелой болезни, с запахом мирры и лотосов, с сидением под навесом в ветреный день, с прохладным напитком на берегу, с «дорогой под дождем», с возвращением моряка на боевом корабле, с прибытием в отчий дом после многих лет плена и с другими желанными ощущениями. Подобной всему этому, говорил поэт, видится ему смерть; и Потифар слушал его слова, слетавшие со старательных губ Иосифа, как слушают музыку, которую знают до мелочей.

Другим литературным произведением, его увлекавшим и потому часто читавшимся, было мрачное и жуткое предсказание губительного разлада в обеих странах и дикого безвластия в его итоге, ужасной всеохватывающей перемены, при которой бедные станут богатыми, а богатые – бедными, что будет сопровождаться запустением храмов и полным забвением службы богам. Почему, собственно, Петепра так любил слушать это пророчество, было неясно; возможно, что только из-за чувства ужаса, которое было приятно, поскольку богатые покамест еще были богаты, а бедные бедны, да и вообще все могло остаться по-прежнему, если только избегать беспорядка и приносить жертвы богам. На этот счет он не высказывался; не делал он никаких замечаний и по поводу «Песни уставшего от жизни», да и относительно так называемых «Утешительных песен» с их приторно-ласковыми словами и любовными сетованиями он тоже хранил молчание. Эти романсы говорили о муках и радостях влюбленной девочки-птичницы, тоскующей о юноше и страстно желающей стать его хозяйкой, чтобы его рука всегда покоилась на ее руке. Если он не придет к ней ночью, жаловалась она приторно-ласково, она уподобится лежащей в могиле, ибо он ее здоровье и ее жизнь. Но это было недоразумение, ибо он тоже слег в своей спальне и посрамил искусство врачей своей болезнью, которая была не чем иным, как любовью. А потом она нашла его на ложе, и больше они уже не терзали друг друга душу, а сделали друг друга первыми людьми в мире, идя рука об руку, с пылающими щеками, по цветущему саду своего счастья. Время от времени Петепра приказывал читать вслух это любовное воркование. В таких случаях лицо его оставалось неподвижным, а глаза, которыми он медленно обводил комнату, выражали холодную внимательность, и он никогда не высказывался об этих песнях – будь то одобрительно или неодобрительно.

Но однажды, по прошествии уже многих дней, он спросил Иосифа, какого тот мнения об «Утешительных», и тогда впервые господин и слуга осторожно коснулись снова области того испытательного разговора в саду.

– Ты довольно хорошо, – сказал Потифар, – и словно бы устами самой птичницы и ее мальчика, читаешь мне эти песни. Они нравятся тебе, наверно, больше других?

– Мое стремление, – отвечал Иосиф, – угодить тебе, великий мой господин, независимо от предмета всегда одинаково.

– Возможно. Но, по-моему, такому стремлению помогают ум и сердце чтеца, иногда больше, иногда меньше. Не все предметы одинаково близки нам. Я не хочу сказать, что эту книгу ты читаешь лучше, чем прочие. Но это не мешает тебе читать ее охотней, чем прочие.

– Тебе, – сказал Иосиф, – тебе, господин мой, я читаю с одинаковой охотой решительно все.

– Отлично. Однако мне хотелось бы услышать твое мнение. По-твоему, эти песни красивы?

Лицо Иосифа приняло холодное, надменно-испытующее выражение.

– Да, довольно красивы, – сказал он, поморщившись. – Красивы, пожалуй, и приторно-нежны. Но, может быть, несколько простоваты, да, именно простоваты.

– Простоваты? Но ведь книга, совершенно выразившая простоту и прекрасно передавшая образец самых обычных человеческих отношений, будет жить века и тысячелетия. В твоём возрасте можно уже судить, образцово ли передан в этих речах такой образец.

– Мне кажется, – помедлив, ответил Иосиф, – что в словах этой птичницы и занемогшего юноши образцовая простота довольно удачно передана и прочно запечатлена.

– Тебе это только кажется? – спросил носитель опахала. – А я-то рассчитывал на твой опыт. Ты юн и красив лицом. Но ты говоришь так, словно сам никогда не ходил с такой птичницей по цветущему саду.

– Юность и красота, – возразил Иосиф, – бывают и более строгим украшением, чем то, каким венчает детей человеческих упомянутый сад. Твой раб, господин, знает одно вечнозеленое растение, которое одновременно олицетворяет юность и красоту и служит украшением жертвы. Тот, кто носит его, сбережен, тот, кого оно украшает, оставлен в сохранности.

– Ты говоришь о мирте?

– О нем. Люди моего племени и я – мы называем его растением не-тронь-меня.

– Ты носишь этот цветок?

– Мое семя и мой род – мы носим его. Наш бог обручился с нами, он кровный наш суженый и очень ревнив, ибо он одинок и жаждет верности. А мы, как верная невеста, посвящены ему и сохранены для него.

– Как, вы все?

– Вообще-то все, господин мой. Но из друзей бога и старейшин нашего рода бог обычно выбирает одного, который должен с ним обручиться еще и особо, во всей красе своей освященной юности. Отец должен принести сына во всеожжение. Если он может, он делает это. Если не может, это делается без него.

– Мне неприятно, – сказал Потифар, ворочаясь на своем диване, – слышать, что кому-то делают то, чего сам он не хочет и не может сделать. Лучше расскажи о чем-нибудь другом, Озарсиф!

– Я могу смягчить свои слова, – ответил Иосиф, – ибо и всеожжение предполагает некоторую снисходительность и уступчивость. Его требуют, но именно поэтому оно запрещено и считается грехом, и кровь сына заменяется кровью животного.

– Какое ты сейчас употребил слово? Считается... чем?

– Грехом, великий мой господин. Считается грехом.

– А что такое... грех?

– Именно это, мой повелитель, – затребованное, но в то же время запретное, приказанное, но в то же время заказанное под страхом проклятья. Пожалуй, только мы одни в мире и знаем, что это такое – грех.

– Нелегкое это, наверно, знание, Озарсиф, если грех так мучительно противоречив.

– Бог тоже страдает из-за нашего греха, и мы страдаем с ним вместе.

– А ходить в сад птичницы, – спросил Потифар, – это, как я начинаю догадываться, тоже, по-вашему, грех?

– Это имеет к нему близкое отношение, господин. Если ты спросишь меня напрямик, грех это или не грех, я отвечу: грех. Не могу сказать, что мы это так уж любим, хотя и мы, наверно, на худой конец могли бы сочинить песню, подобную «Утешительным». Не то чтобы этот сад был для нас настоящим Шеолом, я не хочу заходить слишком далеко. Он для нас не мерзок, но страшен, ибо это – царство демонов, область затребованного, но запретного, целиком открытая ревности бога. Два зверя лежат у входа в него: одного зовут «Стыд», другого «Вина». А из веток выглядывает и третий, чье имя «Глумливый смех».

– Теперь, – сказал Петепра, – я начинаю понимать, почему ты назвал простоватыми «Утешительные песни». Однако я никак не могу избавиться от мысли, что судьба рода, связывающего образцовую простоту с грехом и глумливым смехом, опасна и странна.

– Это, господин мой, имеет у нас свою историю и свое место во времени и преданиях. Образцовая простота изначальна, а потом дело идет к усложнению. Жил-был один человек, друг бога, он любил свою миловидную так же сильно, как бога, и все было образцово просто в отцовской этой истории. Но бог из ревности отнял ее у него и погрузил ее в смерть, откуда она вышла к отцу уже в ином облике – в облике юноши-сына, в котором он теперь и любил миловидную. Итак, смерть сделала из возлюбленного сына, и возлюбленная жила теперь в сыне, который был юношей только вследствие смерти. Но любовь отца к сыну была иной, видоизменной смертью любовью, – любовью уже не в образе жизни, а в образе смерти. Господин мой, конечно же, согласится, что обстоятельства этой истории всячески усложнились и утратили свою образцовую простоту.

– А юноша-сын, – сказал Потифар, улыбнувшись, – был, наверно, тот самый, чье рождение ты поспешил объявить девственным только потому, что оно случилось под знаком Девы?

– Может быть, после того, что я сказал, господин, – ответил Иосиф, – ты, по доброте своей, смягчишь или даже – кто знает! – милостиво возьмешь обратно этот упрек? Ведь если сын – юноша только вследствие смерти, если он мать в образе смерти, если он, как написано, вечером женщина, а утром мужчина, – то разве, посуди сам, у меня нет всех оснований говорить о девственности такого рождения? Бог избрал мое племя, и все носят жертвенное украшение суженой. Но один, сохраненный в угоду ревности, носит его еще дополнительно.

– Предоставим эти вещи самим себе, друг мой, – сказал телохранитель. – За болтовней мы далеко ушли от простого к сложному. Если ты просишь об этом, я согласен смягчить и даже почти целиком взять назад свой упрек. А теперь почитай мне что-нибудь другое! Прочти мне о ночном путешествии Солнца по двенадцати домам подземного мира – я давно не слушал этой повести, хотя в ней, помнится, есть превосходные изречения и весьма изящные обороты.

И с большим вкусом Иосиф прочел о путешествии Солнца по преисподней. Голос чтеца и прекрасные слова, произнесенные этим голосом, поддержали в Потифаре то приятное чувство, каким наполнила его предшествующая беседа, как поддерживают пламя жертвенника, питая его снизу дровами, а сверху маслом, – приятное чувство, которое этот раб-еврей умел пробуждать в фараоновом друге снова и снова и которое было равнозначно доверию – будь то доверие к себе самому или к своему слуге. Все дело в этом двойном доверии, какое почувствовал Потифар к Иосифу, и в росте этого доверия, и потому-то мы сейчас и воспроизвели в точности еще вот эту беседу, которая, как и испытание в пальмовом саду, даже не упоминается в прежних изложениях нашей истории.

Мы не можем привести все беседы, которые питали приятное чувство доверия, выросшее до степени той безусловной привязанности, что составила счастье Иосифа. Мы довольствуемся некоторыми яркими примерами, показывающими его метод «льстить», и, прислуживая, «помогать» своему господину согласно договору, заключенному относительно Потифара с добрым Монт-кау. Да, да, мы можем употребить слово «метод», не боясь холода, который от него, возможно, исходит, так как мы знаем, что в искусстве, с каким Иосиф обращался со своим господином, расчетливость и сердечность переходили одна в другую в точности так же, как в его отношении к одиноким существам высшего рода. Да и может ли сердечность вообще обойтись без расчета и умной техники, если дело идет о ее реализации – например, о возбуждении приятного чувства доверия? Люди редко доверяют друг другу; но у людей с потифаровскими телесными свойствами, у номинальных мужей номинальных жен, общее, неопределенно-ревнивое недоверие ко всем иносушным образует даже основу всей жизни, и поэтому ничто так не способно одарить их непривычным, а значит, тем более счастливым чувством доверия, как открытие, что тот или иной представитель ревнотворного человечества носит на волосах строгую зелень, утешительно лишаящую его тревожной обычности. Расчетливо и методично подвел Иосиф Потифара к такому открытию. Но если кто-нибудь считает нужным осудить за это Иосифа, то пусть он воспользуется тем преимуществом, что уже знает рассказываемую нами историю, и, забегая вперед, вспомнит, что Иосиф не обманул добытого этим путем доверия, а сохранил подлинную верность ему под натиском искушения – согласно союзу, который он заключил с Монт-кау, поклявшись головой Иакова и еще жизнью фараона вдобавок.

Иосиф растет словно у родника

Итак, в свободные от службы при господине часы он вместе с управляющим, которого уже называл отцом, как его ученик и подручный, обходил хозяйство и, встречаемый повсюду улыбками и опущенными глазами, учился обобщать. Обычно Монт-кау сопровождали и другие служащие – например, писец буфетной Хамат и некий Менг-па-Ра, писец стойл и зверинцев. Однако это были люди заурядные, довольные тем, что они более или менее сносно справлялись с узким кругом прямых своих обязанностей и к удовлетворению управляющего содержали в порядке людей, животных, утварь, счета, но даже и мысленно не стремившиеся к чему-то более крупному, требующему всеохватывающего ума; вялые души, только и готовые записывать своими тростинками все, что прикажут, они вообще не думали, что могли быть рождены для власти и обобщения, для чего они именно поэтому и не были рождены. Надо только напасть на мысль, что бог уготовил тебе особую долю и что нужно ему помочь, и тогда душа напрягается, а разум приобретает должную силу, чтобы подчинить себе обстоятельства и стать их хозяином, хотя бы они и были так сложны, как положение в благословенном Потифаровом доме в городе Уазе, в Верхнем Египте.

Ибо оно было сложно, и если сначала Иосиф стал Потифару утешительно-незаменимым личным слугой, а потом тот отдал на руки его весь свой дом, то добиться второго было несравненно труднее, чем первого. Монт-кау, под чьим началом Иосиф вникнул в хозяйство, недаром сказал, что у него много забот: даже при очень хорошей всеохватывающей голове управлять этим хозяйством, а тем более человеку, который из-за большой почки чувствует себя порой не совсем хорошо, было довольно тяжело, и вполне понятно, что Монт-кау воспользовался удобным случаем обзавестись молодым помощником и подготовить себе замену, так как втайне он, конечно, давно уже об этом мечтал.

Петепра, друг фараона, начальник дворцовых войск и глава палачей (по званию), был очень богатым человеком, – богатым в куда большей мере, чем Иаков в Хевроне, и делался на глазах все богаче и богаче, ибо кроме того, что как царедворец он получал высокое жалованье и щедрые подарки царя, его хозяйство, которое было его наследством лишь в малой своей части,

а в большей, особенно в отношении земельной собственности, являлось также милостивым подарком бога и к тому же постоянно пополнялось и питалось такими доходами, – его хозяйство приносило ему большую прибыль; он, однако, в него совершенно не вмешивался, заботясь исключительно о подкреплении своего огромного тела едой, своего мужского достоинства – охотой в болотах, а своего ума – книгами и отдав все остальное на руки управляющего, в чьи отчеты, когда тот почтительно заставлял его их проверить, он лишь равнодушно заглядывал, говоря:

– Ладно, ладно, мой старый Монт-кау, все хорошо. Я знаю, ты любишь меня и делаешь свое дело в меру своего умения, а этого уже вполне достаточно, ибо умение твое велико. Верны ли сведения о пшенице и о мякине? Конечно, верны, я уже вижу. Я убежден, что ты надежен, как золото, и предан мне душой и телом. Да и может ли быть иначе? Иначе и быть не может, по самой природе твоей, ибо тебе было бы омерзительно меня обмануть. Из любви ко мне ты заботишься о моих делах, как о своих собственных, и я доверяюсь тебе, зная твою любовь и понимая, что ты не станешь вредить самому себе нерадивостью или каким-либо худшим пороком. Кроме того, это увидел бы Сокрытый, и позднее тебе достались бы только муки. Твой отчет верен. Возьми его, я благодарю тебя от души. У тебя нет уже ни жены, ни детей – ради кого же ты станешь причинять мне убытки? Ради себя самого? Но ведь ты не вполне здоров – правда, тело твое сильно и волосато, но внутри оно с червоточинкой. Недаром ты часто желтеешь и у тебя увеличиваются мешки под глазами. Едва ли тебе придется сильно состариться. Так зачем же тебе подавлять свою любовь ко мне и меня надувать? Вообще-то я от души желаю, чтобы ты состарился у меня на службе, ибо не знаю, кому же еще я смогу доверять так, как тебе? Доволен ли твоим самочувствием лекарь Хун-Ануп? Дает ли он тебе надлежащие корни и травы? Я в этом решительно ничего не смыслю, я здоров, хотя и не так волосат. Если он не сможет тебе помочь и тебе станет хуже, мы пошлем за лекарем в храм. Ибо хотя ты принадлежишь к сословию слуг и вообще-то тебя полагалось бы пользоваться Краснопузому, ты мне достаточно дорог, чтобы я пригласил к тебе ученого врача из книгохранилища, если этого потребует твое тело. Не благодари меня, друг мой, я сделаю это ради твоей любви и потому, что твои счета столь явно верны. Забери же их и впредь делай все в точности так же, как и доселе!

Вот что говорил в таких случаях Потифар управляющему. Ведь сам он не брался ни за какие дела – по барственной своей нежности, по ложности своего положения, заставлявшей его бояться практической жизни, а также из-за своей уверенности в том, что другие полны заботливой любви к нему, священному великану. Что тут он был прав, что управляющий действительно служил ему верой и правдой, непрестанно умножая его богатство своей рачительностью и бескорыстнейшей добросовестностью, это дело другое. Ну а если бы все было иначе и самовластный домоправитель, наоборот, обирал его и довел его и всю семью до нищеты? Тогда Потифару пришлось бы пенять на самого себя, и его никак нельзя было бы не упрекнуть в ленивой доверчивости. Слишком уж полагался Потифар на бережную и умиленную преданность, которую все должны были выказывать такой священной и нежной особе, как царедворец Солнца, – от этой оценки мы не можем удержаться уже и сейчас.

Итак, он не брался ни за какие дела, а только и знал, что ел и пил; зато у Монт-кау было тем больше забот, что его собственные дела шли попутно и даже сплетались с делами его повелителя. Ибо то, что он получал в качестве платы за свою службу – зерно, хлебы, пиво, гусей, холсты и кожу, – он один, разумеется, не мог съесть или потребить и должен был доставлять все это на рынок и обменивать на прочные ценности, умножая тем самым свое состояние. То же самое, только в большем объеме, происходило и с хозяйским добром – как собственного производства, так и прибывавшим извне.

Носитель опахала был одним из наиболее щедро одаряемых слуг фараона, и обильно сыпались на него свехутешительные вознаграждения за его ложное, основанное на одних званиях бытие. Добрый бог ежегодно платил ему большими количествами золота, серебра и меди,

одежды, пряжи, курений, воска, меда, масла, вина, овощей, зерна и льна, пойманных птицеловцами птиц, крупного скота и гусей и даже кресел, носилок, зеркал, повозок и целых деревянных судов. Все это шло на нужды дома только частично – как, впрочем, и продукты собственного хозяйства, – изделия ремесленников и плоды поля и сада. Большая часть всего этого продавалась, отвозилась на судах вверх или вниз по реке на рынки и обменивалась у купцов на другие товары, а также на чеканный и нечеканный металл, наполнявший хозяйское казнохранилище. Эта торговля, столь неразрывно связанная с хозяйством в собственном смысле слова, то есть с производством и потреблением, нуждалась во всяческом учете и требовала обобщающего надзора.

Нужно было приготовить и распределить на суточные пайки довольствие работников и слуг: хлеб, пиво, овсяную и чечевичную похлебку в будни, гусей в праздники. Изо дня в день ставило свои требования в части снабжения и расчетов особое хозяйство гарема. Ремесленникам – пекарям, сандалящикам, клейщикам папируса, пивоварам, вязальщикам циновок, столярам и горшечникам, ткачихам и прядильщицам – нужно было отмеривать сырье, а их изделия, так же как и плоды деревьев и овощных гряд, частью распределять для насущных нужд, частью же отправлять в кладовые или на рынок. Ухода и пополнения требовали и животные Потифарова дома – лошади, которые возили хозяина, собаки и кошки, с которыми он охотился, – большие, дикие собаки для охоты в пустыне и тоже очень большие, похожие больше на ягуаров кошки, ходившие с ним на болотную птицу. Было на самой усадьбе и некоторое количество крупного рогатого скота; но большая часть Потифарова стада находилась в поле, на острове посреди реки, чуть ниже в сторону Дендеры и храма Хатхор: этот остров, подаренный ему в знак любви фараоном, имел пятьсот сажень пахотной земли, приносивших ему по двадцати мешков пшеницы и ячменя и по сорока корзин луку, чеснока, дынь, артишоков и бутылочных тыкв каждая, – прикиньте же, сколько добра давали пятьсот сажень и с какими заботами были сопряжены такие доходы! Имелся там, правда, и свой распорядитель, работник весьма умелый, писец урожая и начальник ячменя, переполняющий четверики и отмеривающий пшеницу своему господину, – так самодовольно, в стиле надгробных надписей, именовал себя этот человек; но это отнюдь не значило, что на него можно было целиком положиться; все оставалось на плечах Монт-кау: в конце концов счета, относившиеся к посеву и урожаю, проходили через его руки, точно так же как счета, относившиеся к маслобойням, виноградным давальням, крупному и мелкому скоту – словом, ко всему, что производит, поглощает, вывозит и ввозит такой благословенный дом, и в конечном счете ему еще приходилось самому и присматривать за полевыми работами, так как тот, кому все это принадлежало, царедворец Потифар, по своей изнеженности и в силу ложного своего положения, не привык во что-либо вникать и за что-либо братья.

Вот как получилось, что в надлежащее время и при надлежащих обстоятельствах Иосиф все-таки попал в поле – и слава богу, что не в другое время и не при других обстоятельствах. Ибо попал он туда не в качестве барщинника, как то случилось бы, если бы победило консервативное мировоззрение карлика-супруга Дуду и молодого жителя песков тотчас же отправили бы туда, не дав ему поговорить с Потифаром, – нет, он появился там, как провозжатый и подручный Монт-кау, как его ученик, постигающий мастерство обобщения, – он появился там с тростинками и писчей дощечкой; на парусном струге с гребцами, среди окольных Монт-кау, спустился он по реке к островной житнице Потифара, и в пути управляющий сидел среди ковров своего шалаша так же торжественно-неподвижно, как те знатные путешественники, что скользили мимо Иосифа во время первого его плаванья, а сам он сидел позади управляющего с другими писцами. И все встречные узнавали этот струг и говорили друг другу:

– Это едет Монт-кау, домоправитель Петепра, и едет, как видно, с ревизией. Но кто же этот юноша, выделяющийся среди его провозжатых чужеземной своей красотой?

Затем они вышли на берег и пошли по плодородному острову, проверяя посевы и урожай, осматривая скот и пугая того, кто «переполнял четверики», своим пронизательным видом; и тот, удивляясь юноше, которому управляющий все показывал и перед которым как бы даже, в свою очередь, отчитывался, предусмотрительно сгибался перед незнакомцем. А Иосиф, представив себе, как легко мог бы тот сделаться его начальником и надсмотрщиком, попади он в поле в неподходящее время, тихонько говорил распорядителю острова:

– Смотри, не переполняй четвериков так, чтобы самому поживиться! Мы это сразу заметим, и тогда тебя обратят в пепел!

Выражение «обратить в пепел» было в ходу на родине Иосифа, а здесь его вообще не употребляли. Но тем более испугало оно писца урожая...

А дома, обходя с Монт-кау столы ремесленников, глядя на их работу и внимательно слушая отчеты, принимаемые управляющим у нарядчиков и учетчиков, а также объяснения, которые тот давал ему по этому поводу, Иосиф мог поздравить себя с тем, что ему удалось сберечь уважение работников и утаить от них свое невежество; иначе им было бы труднее увидеть в нем всеобъемлющий ум, созданный для начальственного надзора. Но до чего же трудно сделать из себя то, для чего ты создан, и подняться до уровня намерений, связываемых с тобой богом, даже если эти намерения довольно скромны; намерения же, связанные у бога с Иосифом, были очень даже значительны, и Иосифу ничего не оставалось, как поднатужиться. Он подолгу сидел тогда над счетами домашнего хозяйства и промыслов и, глядя на цифры и выкладки, обращал свой внутренний взор к той действительности, из которой они были извлечены. Работал он и вместе с Монткау, своим отцом, в Особом Покое Доверия, и тот удивлялся скорости и пронизательности его ума, способности этой красивой головки не только схватывать и связывать любые дела, но и по собственному почину предлагать всякие улучшения. Так как большие количества собранной в саду смоквы сбывались в город, вернее, в западный город мертвых, где эти плоды, заполнявшие жертвенники храмов смерти и приносимые на могилы для подкрепления умерших, хорошо раскупались, Иосифу пришла в голову мысль заказать гончарам дома глиняные, окрашенные в естественные цвета модели этого плода, которые выполняли бы свое назначение на могилах ничуть не хуже настоящих плодов. А поскольку назначение это было магическим, то как магические символы они выполняли его даже еще лучше, и вскоре в городе появился большой спрос на волшебную смокву, которая поставщику почти ничего не стоила и могла быть изготовлена в любом количестве, вследствие чего этот промысел Потифара вскоре расцвел и, заняв множество рабочих рук, способствовал обогащению господина хоть и не в такой уж значительной по сравнению с прочим, но все-таки в достойной внимания мере.

Управляющий Монт-кау был благодарен своему помощнику за то, что он так добросовестно выполнял договор, заключенный ими однажды ради их благородного господина, и когда он видел ясную целеустремленность этого юноши и находчивость, с какой тот подчинял своему уму любое сложное дело, в нем часто вновь оживали те странные и смутные чувства, которые в свое время, едва тот предстал перед ним со свитком в руках, так двусмысленно разволновали его.

Вскоре, чтобы снять с себя часть трудов, он стал посылать своего молодого ученика и в деловые поездки, и на рынки с товарами – как вниз по реке, в сторону Абуду, усыпальницы Растерзанного, вплоть до Менфе, так и вверх, на юг, к острову Слонов, так что Иосиф бывал хозяином струга или даже многих стругов, нагруженных добром Петепра: пивом, вином, овощами, мехами, холстами, глиняной посудой и касторовым маслом, как светильным, так и очищенным – для внутреннего лощения. Поэтому через короткое время встречные уже говорили:

– Это идет под парусом помощник Монт-кау, что живет в доме Петепра, юноша-азиат, прекрасный лицом и ловкий в поступках. Он везет товары на рынок, ибо управляющий доверяет ему, и доверяет по праву, ибо в глазах у него есть что-то волшебное, а на человеческом

языке он говорит лучше, чем мы с тобой. Он располагает людей к своему товару, расположив их к себе, и сбывает его по хорошей цене, чрезвычайно отрадной для фараонова друга.

Вот что говорили корабельщики Нехела, встречаясь с Иосифом. И все так и было, как они говорили; благословение сопутствовало Иосифу, он умел очаровывать покупателей в деревнях и городах, его речь была блаженством для каждого, и поэтому всех так и тянуло к нему и к его товарам, и он привозил управляющему выручку, какой ни тот, ни любой другой поверенный никогда не добились бы. И все-таки Монт-кау не часто посылал Иосифа в деловые поездки, а посылая, наказывал поскорей воротиться; ибо Петепра бывал весьма недоволен, если этого слуги не оказывалось в столовом покое, если кто-то другой сливал ему на руки воду и подавал кубок и кушанья и если он был лишен общества Иосифа в часы послеобеденного чтения на сон грядущий. Да, только если учесть, что, справляясь с такой многосложной задачей, как изучение хозяйства, Иосиф не переставал быть личным слугой и чтецом Потифара, только если это учесть, можно вполне измерить тяжесть требований, предъявленных в ту пору голове Иосифа и его энергии. Но он был молод и полон готовности и решимости подняться на уровень намерений бога. Последним из тех, кто жил здесь внизу, он больше не был; гнуть перед ним спину начали уже многие. Но все должно было еще пойти совсем по-другому, – по воле божьей. Он проникся этим сознанием, и гнуть перед ним спину должны были не только некоторые, а все, все, кроме одного, самого высокого, единственного, кому он имел право служить, – таково было твердое, беспрекословно определившее его жизнь убеждение Аврамова отпрыска. Как это произойдет, как случится, он не знал и не мог представить себе; но нужно было послушно и мужественно идти указанной богом дорогой, заглядывая вперед ровно настолько, насколько это дано человеку, когда он идет по дороге, и не унывать на крутых подъемах, ибо они-то как раз и указывали на высокую цель.

Поэтому он всячески подчинял своему уму хозяйственные и торговые дела, стараясь стать для Монт-кау с каждым днем все более незаменимым помощником, а кроме того, соблюдал договор, заключенный с управляющим относительно Потифара, доброго господина, самого высокого в ближайшем кругу лица, прислуживая телу его и душе и укрепляясь в его доверии по тому же способу, что в беседе у пальм и в разговоре о саде птичницы. Нужно было не жалеть ни ума, ни искусства, чтобы так поддерживать господина в глубине его души, подогревая в нем чувство собственного достоинства успешнее, чем это могло бы сделать вино за столом. И добро бы этим исчерпывались заботы Иосифа! Чтобы составить себе полную картину обязанностей, которые должен был выполнять сын Иакова, будучи одновременно помощником управляющего и помощником господина, нужно иметь в виду, что ему еще ежевечерне приходилось прощаться на ночь с Монт-кау, причем добывая каждый раз новые обороты в словарной сокровищнице; ведь ради этого-то сначала его и купили, и слишком приятно был тронут Монт-кау первым, еще чисто проверочным опытом такого прощания, чтобы отказывать себе в этом удовольствии впоследствии. К тому же, как свидетельствовали мешки, висевшие у него под глазами и уменьшавшие их, спал он довольно плохо. Натруженная его голова никак не могла успокоиться после хлопотливого дня; да и почка, с которой дело у него обстояло не совсем хорошо, тоже не способствовала быстрому успокоению, и в конце дня он, конечно, бывал рад этим ласковым пожеланьям и благозвучным внушеньям. Поэтому Иосиф обязан был неукоснительно являться к нему перед наступлением ночи и нашептывать ему на ухо какие-нибудь успокоительные слова, которые тоже, помимо всех прочих дел, нужно было днем продумать и подготовить; ибо выразиться надлежало изысканно.

– Прими, отец мой, прощальный ночной привет! – говаривал он, подняв руки. – Гляди, день отжил свое, он сомкнул вежды, устав от самого себя, и на весь мир снизошла тишина. Прислушайся, что за диво! Разве что в стойле топнет копыто, да еще вдруг где-то залает собака, но от этого безмолвие становится только глубже; несет оно мир и душе человека, его клонит ко сну, и над двором и над городом, над плодородными полями и над пустыней загораются

неусыпные светильники бога. Люди радуются, что вовремя, как раз когда они устали, наступил вечер и что завтра, когда они подкрепятся отдыхом, день снова откроет свои глаза. Поистине достойна благодарности премудрость божия! Пусть только представит себе человек, что ночи не существует и пылающая дорога трудов безраздельно и бесконечно простирается перед ним в гнетущем однообразии. Разве это было бы не ужасно, разве он не отчаялся бы? Но бог сотворил дни и назначил каждому из них свою цель, которой мы уверенно и достигаем в положенный час: роща ночи манит нас священным отдохновением, и с раскинутыми руками, с запрокинутой головой, с открытыми губами и блаженно угасшим взором вступаем мы под ее милую сень. Не думай же, дорогой господин мой, на ложе своем, что ты должен уснуть! Нет, думай, что ты волен уснуть, и усмотри в этом великую милость, и тогда мир пребудет с тобой! Вытяни же члены свои, отец мой, и да ниспадет на тебя, да окутает тебя, да наполнит всю душу твою блаженным покоем сладостный сон, и да почиешь ты, избавленный от забот и волнений, у его священной груди!

– Спасибо, Озарсиф, – отвечал управляющий, и как в тот раз, когда Иосиф среди бела дня впервые пожелал ему доброй ночи, у него немного увлажнились глаза. – Отдохни же и ты! Вчера ты говорил, может быть, чуть складнее, но и сегодня речь твоя была отрадна и родственна опию, и я надеюсь, что она поможет мне от бессонницы. Мне особенно понравилось твое утверждение, что я волен спать, а не должен; я буду об этом думать, это будет моей опорой. И как только получается, что слова складываются у тебя в волшебное заклинание: «Да ниспадет на тебя, да окутает тебя, да наполнит всю душу твою...»? Этого ты, пожалуй, и сам не знаешь. Итак, спокойной ночи, мой сын!

Амун косится на Иосифа

Вот сколько всяких требований предъявлялось в ту пору Иосифу, и мало того, что он их выполнял, он еще должен был заботиться о том, чтобы ему простили его счастье; ибо улыбки и опущенные взоры, которыми сопровождают люди подобное возвышение, таят в себе много злости, и всех приходится и так и этак задабривать, задабривать с умом, осторожностью и тонким искусством: еще одним требованием больше предъявляется в этом случае к бдительности и собранности. Совершенно невозможно, чтобы тот, кто, подобно Иосифу, растет словно у родника, не перебил кому-то дорогу и не вторгся в чью-либо область; он не может этого избежать, потому что ущемление других неотвратимо связано с его бытием, и добрая часть его умственных сил всегда должна быть направлена на то, чтобы примирять с фактом своего существования оставленных в тени и придавленных. До ямы Иосиф не понимал таких истин и не был к ним чуток; невосприимчивым к ним сделала его убежденность, что все люди любят его больше, чем самих себя. По смерти и став Озарсифом, он сделался смышленнее или, если угодно, умнее, ибо смышленность, как и показывает пример юного Иосифа, не защищает от глупости; и щепетильность, проявленная им в беседе с Монт-кау по отношению к Аменемуйе, своему предшественнику по должности чтеца, была рассчитана в первую очередь на самого управляющего, в уверенности, что она приятно тронет его, даже если он и склоняется к добровольной отставке. Но и на самого Аменемуйе он тоже не пожалел сил, сходил к нему и поговорил с ним так вежливо и так скромно, что этот писец был совершенно задобрен и с искренней охотой поступился своей должностью ради такого обворожительного преемника. Прижав руки к груди, в самых трогательных словах, Иосиф объяснил, сколь тягостна ему священная воля господина, изъяслению которой он сознательно ничем не способствовал, будучи – и это лучшее доказательство – убежден, что воспитанник книгохранилища Аменемуйе читает куда лучше, чем он, Озарсиф, хотя бы уже потому, что тот – сын Черной Земли, а он, Озарсиф, коверкающий слова азиат. Но так уж случилось, что, когда ему однажды пришлось говорить в саду с господином, он от смущения стал выкладывать все, что случайно знал о деревьях, о

пчелах и птицах, и это вдруг почему-то, совершенно не по достоинству, настолько понравилось господину, что тот со свойственной великим мира сего быстротой принял свое решение, – и принял, как он, Иосиф, должен признать, не на пользу себе. Ибо господин то и дело ставит ему в пример Аменемуйе и говорит: «Вот как и вот с каким ударением читал это Аменемуйе, прежний мой чтец; если хочешь снискать мою милость, читай так же, как он, ибо я избалован хорошим чтением». И тогда Иосиф пытается читать так же, а значит, живет он, собственно, только за счет своего предшественника. И если господин не отменяет этого своего приказа, то только потому, что великие мира сего никогда не хотят, да и не могут признать, что отдали приказ опрометчиво и себе во вред. Поэтому он, Иосиф, пытается утешить его в его тайном раскаянье, ежедневно говоря ему такие слова: «Ты должен, о господин, подарить Аменемуйе два праздничных платья, а кроме того, назначить его на хорошую должность – писцом сладостей и увеселений в Доме Замкнутых, и тогда тебе, да и мне тоже, будет легче при мысли о нем».

Все это было, разумеется, истинным бальзамом для Аменемуйе. Он и не подозревал, что он такой хороший чтец, ибо обычно господин засыпал, стоило ему, Аменемуйе, только раскрыть рот; и, говоря себе, что если бы не отставка, он этого так и не узнал бы, он должен был радоваться своему отстранению от должности. Согревали ему также душу угрызения совести преемника и непризнанное раскаянье господина; и так как он в самом деле получил два праздничных платья и прекрасную должность смотрителя увеселений в гареме, из чего явствовало, что Иосиф действительно замолвил за него слово у господина, то он не питал ни малейшей злобы к этому кенанитянину, относился к нему с приязнью и считал, что тот обошелся с ним, Аменемуйе, чрезвычайно любезно.

А для Иосифа ничего не значило выхлопотать другому хорошую должность, так как сам он вместе с богом не довольствовался малым и при поддержке Монт-кау готовился, пусть еще исподволь, к общенаправляющей деятельности. Точно так же поступил он с работником, обычно сопровождавшим господина во время охоты на птицу и рыбной ловли, с неким Мерабом. На эти мужские развлечения Потифар тоже брал теперь с собой подручным Озарсифа, а не Мераба, что вообще-то, конечно, было для Мераба что нож под ребра, и нож отравленный. Однако Иосиф лишил этот нож отравы и остроты, поговорив с Мерабом так же, как с Аменемуйе, и равным образом выхлопотав ему взамен почетный подарок и хорошую должность смотрителя пивоварни, после чего Мераб стал Иосифу другом, а не врагом и говорил о нем всем и каждому такие слова:

– Хотя он родом из горемычного Ретену и кочевник пустыни, а малый он все-таки, ничего не скажешь, изящный и ведет себя очень мило. Клянусь всеми тремя божествами, он делает еще ошибки в человеческом языке, и все-таки, если приходится уступать ему место, то уступаешь его с радостью и у тебя при этом еще и глаза светятся. Не объясняйте мне, почему это так, ведь словами тут все равно ничего не объяснишь, – а глаза светятся.

Так говорил этот Мераб, обыкновенный египтянин; и не кто иной, как Зе'энх-Уэн-нофре и так далее, то есть карлик Боголюб, шепотом уведомил Иосифа, что отставной ловчий ведет на людях подобные речи. «Ну что ж, это хорошо», – ответил Иосиф. Но он отлично знал, что не каждый так скажет; от детского заблуждения, что все должны любить его больше, чем самих себя, он давно избавился и отлично понимал, что его возвышение в Потифаровом доме, неприятное для многих уже само по себе, вызывает из-за его чужеземности, из-за его принадлежности к «жителям песков», к иврим, еще и особое, требующее от него величайшей тактичности недовольство. Мы снова подходим к той борьбе партий и к тем внутренним противоречиям, которые владели страной внуков и среди которых протекала там карьера Иосифа; к неким религиозным и патриотическим началам, противостоявшим этой карьере и чуть не испортившим ее на самых первых порах, – а равным образом к неким другим, которые можно было бы назвать вольнодумно-терпимыми или модными и уступчивыми и которые благопри-

ястствовали его возвышению. Этих последних принципов домоправитель Монт-кау держался просто-напросто потому, что их держался его господин, великий царедворец Петепра. А Петепра почему? Конечно, потому что их отстаивал двор; потому что там досадовали на обременительное богатство и на могущество храмов Амуна, являвшегося в зрелой стране воплощением патриотически-охранительной строгости нравов, и потому что высшие царедворцы склонялись предпочтительно к другому культу – можно уже догадаться к какому. К культу Атума-Ра, почитаемого на вершине треугольника, в Оне, этого очень древнего и очень кроткого бога, к которому Амун приравнял себя, но приравнял не по любовно, а силой, назвавшись Амуном-Ра, богом царства и Солнца. Они оба, и Ра и Амун, были Солнцем на струге, но в каких разных смыслах были они Солнцем и как не походили они при этом один на другого! На месте, в разговоре с мокроглазыми жрецами Горахте, Иосиф получил представление о гибкой, радостно-ученой солнечной природе этого бога; он знал о его желании расшириться, о его склонности вступить в связь и установить согласие с богами Солнца всех существующих в мире народов, с солнечными юношами Азии, которые, как жених, выходили наружу из своей горенки, как веселый герой, пробегали положенный путь и которых оплакивали женщины, когда они погибали. Похоже было, что Ра не хотел отмежеваться от них, как не хотел в свое время Авраам отмежевать своего бога от Эль-эльона Мелхиседека. Он назывался Атумом в час своей гибели и был в этот час очень красив и достоин плачей; но ныне, благодаря гибкости ума его ученых пророков, он приобрел сходное по звучанию имя, обозначающее не только час его гибели, но и вообще все его солнечное естество – и утро, и полдень, и вечер: он называл себя Атоном, и ни от кого не мог ускользнуть странный отголосок, звучавший в этом новом имени бога, ибо оно было очень похоже на имя растерзанного вопреку юноши, о котором плакала флейта в ущельях и рощах Азии.

Вот каким иноземным налетом, вот какой гибкостью и дружественной миру универсальностью отличалась солнечная природа Ра-Горахте, которую так почитал двор; ученые фараона не знали лучшего занятия, чем размышление о ней. Зато Амун-Ра, отец фараона в своем могучем и богатом сокровищами доме в Карнаке, был полной противоположностью Атума-Ра. Он был неподвижен и строг, непримиримо враждебен любому обобщающему рассуждению, неприязнен ко всему иноземному, он застыл в своей приверженности к слепому обычаю, к священной исконности – а ведь при этом он был гораздо моложе, чем онский бог, и, следовательно, древнее оказывалось в данном случае, как это ни парадоксально, гибким и дружественным миру, а новое – негибаемо-косным.

Поскольку же карнакский Амун косо смотрел на успех, который имел при дворе Атум-Ра-Горахте, Иосиф чувствовал, что тот косо смотрит и на него, чужеземца, исполняющего обязанности слуги и чтеца царедворца; и, учитывая свои выгоды и невыгоды, он вскоре пришел к заключению, что солнечная природа Ра благоприятна ему, а природа Амуна – неблагоприятна и что эта неблагоприятность требует от него большого такта.

Ближайшим к нему воплощением природы Амуна был спесивец Дуду, смотритель одежной. Что тот любил его никак не больше, чем себя самого, а значительно меньше, было с самого начала достаточно ясно; невозможно передать, сколько сил ушло у сына Иакова за все это время, за долгие годы, на этого степенного карлика, как старался он, держась отменно учтиво не только с ним, но и с той, что охватывала его одной рукой, с его супругой Цесет, занимавшей в гареме высокое положение, и с его длинными, но уродливыми детьми Эсези и Эбеби, умиротворить его и расположить к себе, как тщательно избегал хотя бы в малейшей степени его ущемить. Кто сомневается в том, что при отношениях, сложившихся у него с Потифаром благодаря определенным услугам согревающе-отрадного свойства, Иосифу ничего не стоило оттеснить Дуду и стать самому смотрителем платья? Ведь господин был только рад лишнему поводу приблизить его к своей особе, и можно даже с уверенностью сказать, что он без всяких просьб, по собственному почину, предлагал ему должность главного гардеробщика, тем

более что этого чванного карлика, как Иосиф заметил, а еще раньше заключил по неприязни к Дуду верного управляющего, Петепра совершенно не выносил. Но столь же решительно, как и скромно Иосиф отклонил это предложение, во-первых, потому, что, готовясь к деятельности обобщающего характера, он не должен был брать на себя новых обязанностей личного слуги, а еще, как он подчеркнул, потому, что не хотел и не мог заставить себя перейти дорогу этому достойному человечку.

И вы думаете, карлик его отблагодарил? Ничуть не бывало – в этом отношении Иосиф дал волю ложным надеждам. Враждебности, которую проявил к нему Дуду в первый же день, нет, в первый же час, когда попытался расстроить сделку с измаильтянами, нельзя было ни преодолеть, ни хотя бы только смягчить ни вежливостью, ни деликатностью; и кто хочет понять подоплеку, движущие силы всей этой истории, тот при объяснении столь упрямой неприязни не остановится на том, что наш египтянин, будучи страстным приверженцем своей партии, не мог примириться с покровительством иноземцу и ростом его значения в доме. Нет, тут, несомненно, нужно принять во внимание и те своеобразные волшебные средства, благодаря которым Иосиф оказался «полезен» господину и расположил его к себе, средства, с которыми Дуду довелось познакомиться. Они были ему крайне ненавистны, потому что в них он усматривал умаление своей полноценности и тех преимуществ, что составляли гордость и оправдание его низкорослой жизни.

Иосиф об этом тоже догадывался. Он не скрывал от себя, что в тех же тайных глубинах души, где ему удалось улажить одного, он своей речью в финиковом саду чувствительно ранил другого и что, значит, он все-таки, вопреки своему желанию, этого карлика-супруга задел. Поэтому-то он и был так обходителен с женой и с потомством Дуду. Но все было тщетно, тот всячески, снизу вверх, выказывал Иосифу свою недоброжелательность, что особенно удавалось карлику, когда он с достоинством ревнителя старинных обычаев подчеркивал порочность хабирского происхождения Иосифа. За столом, когда старшие слуги дома, и в их числе Иосиф, ели свой хлеб вместе с управляющим Монт-кау, Дуду, с важностью втянув свою нижнюю губу под крышу верхней, упорно требовал, чтобы египтянам подавалось особо, а еврею особо; более того, если управляющий и другие, исходя из солнечной природы Атума-Ра, отказывались от строгого соблюдения такого обычая, то карлик, демонстрируя свою верность Амуну, садился как можно дальше от этой нечисти, а то и отплевывался на все четыре стороны, или произносил очистительные заклинания и осеял себя волшебными знаменьями, явно стараясь обидеть Иосифа.

И добро бы этим все ограничивалось! Так нет же, очень скоро Иосиф узнал, что надменный Дуду ведет самые настоящие происки против него, Иосифа, пытаясь выжить его из дома, – узнал он это сразу же и во всех подробностях опять-таки через своего дружокка Боголюба, Беса-на-празднике, ибо, благодаря своей крошечности, тот умел как нельзя лучше подглядывать и подслушивать; словно бы созданный для незримого присутствия в нужных местах, он знал укрытия, о которых люди обычного роста даже и подозревать не могли. Но Дуду, принадлежавшему к тому же племени карликов и так же, как он, привыкшему к мерам их малого мира, следовало бы проявлять большую осторожность и предусмотрительность, чем полнорослым. Прав был, видно, маленький Боголюб, считавший, что, вступив в брачный союз с миром долговязов, Дуду отказался от многих тонкостей малоразмерной жизни, а в силу своей способности к такому союзу, наверно, и обладал карличьей тонкостью лишь в ограниченной мере. Как бы то ни было, он не заметил соглядатайства своего презренного братца, и тот вскоре узнал, какими именно путями ходил Дуду, пытаясь помешать росту Иосифа: пути эти вели в Дом Замкнутых, они вели к названной супруге Потифара Мут-эм-энет; а то, что сообщал ей карлик, она, в свою очередь, будь то в его присутствии или с глазу на глаз, обсуждала с одним могущественным лицом, завсегдатаем Потифарова гарема и ее личных покоев, – с Бекнехонсом, Первым пророком Амуну.

Из разговора злых старичков, родителей Потифара, известно уже, в сколь близких отношениях находилась госпожа Иосифа с храмом этого богатого державного бога, с домом Амуна-Ра. Как и многие женщины ее сословия, например, как ее подруга Рененутет, жена главного смотрителя говяд Амуна, она принадлежала к аристократическому ордену Хатхор, покровительницей которого считалась Великая супруга фараона, а предводительницей обычно бывала жена верховного жреца карнакского бога, в то время, следовательно, жена, благочестивого Бекнехонса. Средоточием и духовным очагом этого ордена был прекрасный храм у реки, называвшийся «Южным Домом Утех Амуна» или «гаремом» и соединявшийся удивительной аллеей Овнов с Великой Карнакской Обителью, тот самый храм, к которому фараон собирался пристроить не имеющий себе равных колонный зал; члены этого ордена в торжественных случаях именовались «женами Амуна», а их начальница, супруга верховного жреца, соответственно «первой из жен Амуна». Но почему эти дамы назывались «хатхорами», если великую супругу Амуна-Ра звали Мут или «мать», а прекрасная лицом, волоокая Хатхор относилась, скорее, к онскому владыке Ра-Атуму, чьей госпожой она и была? Да, таковы уж были политические тонкости земли Египетской! Поскольку Амуну, по соображениям государственным, угодно было отождествить себя с Атумом-Ра, то и Мут, мать его сына, отождествила себя с покорительницей Хатхор, и то же самое сделали земные жены Амуна, знатные фиванские дамы: каждая из них была олицетворением владычицы любви Хатхор, когда они по большим праздникам, в маске супруги Солнца, в узком платье, с коровьими рогами и солнечным диском на золотой диадеме, играли, плясали и пели Амуну, – пели, как только могут петь великосветские дамы; ибо выбирались они не за благозвучные голоса, а за богатство и знатность. Впрочем, хозяйка Потифарова дома Мут-эм-энет пела отлично, она даже обучала хорошему пенью других, в частности упомянутую уже смотрительшу говяд Рененутет, и вообще пользовалась почетом в гареме бога, благодаря чему занимала в ордене почти такое же высокое положение, как его настоятельница, чей супруг, то есть Бекнехонс, Великий пророк Амуна, постоянно посещал Мут-эм-энет, будучи ее другом и благочестивым наперником.

Бекнехонс

Этого сурового человека Иосиф давно знал в лицо; он не раз видел его во дворе и возле гарема и всегда досадовал за фараона на шумную пышность выездов Бекнехонса: ратники бога с копьями и дубинками шагали впереди его паланкина, длинные шесты которого покоились на плечах четырежды четырех зеркальногоголовых жрецов; за носилками следовал еще один военный отряд, по обеим их сторонам, как у струга самого Амуна во время торжественных шествий, несли страусовые опахала, а впереди переднего отряда бежали еще скороходы, которые, сообщая о прибытии Бекнехонса, оглашали двор своим требовательным и взволнованным криком, чтобы все сбежались и управляющий, а то и сам Петепра, встретил у порога высокого гостя. Потифар в таких случаях обычно не сказывался дома, но Монт-кау всегда бывал тут как тут, а за ним уже не раз выходил к Бекнехонсу и Иосиф, внимательно разглядывая этого очень важного посетителя, который был для него самым высоким и самым далеким воплощением той враждебной природы Солнца, чьим ближайшим и мельчайшим воплощением являлся Дуду.

Бекнехонс был высокого роста и вдобавок держался очень осанисто, он ходил, выпятив грудь, развернув плечи и задрав подбородок. Его яйцеобразная, всегда непокрытая, гладко выбритая голова была довольно крупна, и заметней всего на ней выделялась глубокая и резкая борозда между глаз, которая никогда не исчезала и не утрачивала своей строгости, даже если он улыбался, а улыбался он только высокомерно и только в награду за особое подобострастие. Тщательно очищенное от растительности, точено-правильное и неподвижное лицо верховного жреца, с высокими скулами и глубокими, как борозда между глаз, морщинами около ноздрей и рта, обычно глядело мимо людей и предметов; взгляд этот был более чем надменным, он

был равнозначен отказу от всего современного мироустройства, отрицанию и осуждению всего векового или даже тысячелетнего хода жизни, да и одежда его, очень тонкая и дорогая, отличалась старозаветностью и по священническому обычаю отставала от моды не меньше, чем на несколько эпох: ясно видно было, что под верхним, начинавшимся под мышками и ниспадавшим до пят платьем он носит простой, узкий и короткий набедренник, какой был принят при первых династиях; к еще более древним и, вероятно, более благочестивым временам восходила священническая шкура леопарда, обвивавшая его плечи таким образом, что голова и передние лапы кошки висели у него за спиной, а задние лапы скрещивались на его груди, где виднелись и другие знаки его сана: голубая повязка и затейливое золотое украшение с бараньими головами.

Леопардовая шкура была, строго говоря, некоей узурпацией, ибо она являлась частью убранства Первого пророка Атума-Ра в Оне и служителям Амуна не полагалась. Но Бекнехонс всегда сам определял, что ему полагается, и все, в том числе Иосиф, отлично понимали, почему он носит первобытную одежду людей, священную шкуру. Он хотел этим показать, что Атум-Ра растворился в Амуне, что он является лишь разновидностью фиванского владыки и в известной мере, да и не только в известной мере, ему подчинен. Ибо Амун, то есть Бекнехонс, добился того, что верховный пророк Ра в Оне принял почетное звание второго жреца Амуна в Фивах, а поэтому здесь, в Фивах, главенство над ним первосвященника и право первосвященника на его знаки отличия были очевидны. Но даже и в Оне, резиденции Ра, это превосходство оставалось в силе. Ибо мало того что Бекнехонс называл себя «предводителем жрецов всех богов в Фивах», он присвоил себе также звание «предводителя жрецов всех богов Верхнего и Нижнего Египта» и был, следовательно, сверхпервым и в доме Атума-Ра. Так неужели же он не имел права носить леопардовую шкуру? Нельзя было без страха глядеть на него при мысли о его значении; что же касается Иосифа, то он уже достаточно сжился с землею Египетской, чтобы тревожиться и недоумевать по поводу того, что фараон бесконечными своими дарами непрестанно умножает богатство и гордость этого могучего мужа, теша себя представлением, будто он благодетельствует лишь собственному отцу Амуну, а следовательно, себе самому. Иосиф, для которого, хотя он этого и не показывал, Амун-Ра был таким же идиолом, как всякий другой, – отчасти овном в своем приделе, отчасти же куклой в ларце своего капища, которую катали по Иеору в нарядном струге просто потому, что не могли придумать ничего лучшего, – Иосиф судил в данном случае свободнее и острее, чем фараон; он считал, что тот поступает неверно и неумно, безудержно обогащая своего мнимого отца, и, глядя, как князь Амуна исчезает в гареме, Иосиф проникался уже, следовательно, более высокой заботой, чем забота о собственном благе, заботой государственной, хотя и знал, что там, в гареме, ведутся весьма сомнительные речи о нем самом.

От маленького Боголюбя, самого первого его покровителя в Потифаровом доме, ему было известно, что Дуду уже не раз приходил к Мут, госпоже, с жалобами на него, Иосифа: подслушивая эти беседы из самых невероятных укрытий, карлик шепотом передавал их Иосифу с такими подробностями, что тот воочию видел, как смотритель одежды стоял в накрахмаленном набедреннике перед их повелительницей и, напыщенно прикрывая нижнюю свою губу крышей верхней, возмущенно жестикулируя коротенькими ручками и стараясь говорить как можно более низким голосом, жаловался госпоже на это досадное неблагополучие. Раб Озарсиф, как он невразумительно и, видимо, произвольно называет себя, – говорил карлик, – этот хабирский мошенник, этот молокосос-чужеземец, постыдным образом возвышается в доме и пользуется, на беду, большой благосклонностью – можно не сомневаться, что Сокрытый глядит на это с неодобрением. Вопреки его, карлика, дельному совету. Озарсиф был за слишком дорогую цену, сто шестьдесят дебенов, куплен у мелких торговцев пустыни, укравших его из колодца, куда его бросили в наказание, и благодаря хлопотам этого пустомели, этого холостого шута Шепсес-Беса, попал в дом Петепра. Но вместо того чтобы послать этого мерзкого чужеземца в поле на барщину, как люди почтенные и советовали управляющему, тот сначала предо-

ставил ему слоняться без дела по двору, а затем, в финиковом саду, позволил поговорить с Петепра, чем этот повеса более чем бесстыдно воспользовался. Он прожужжал господину уши своей злокозненной болтовней, которая была поношением Амуну и оскорблением верховной силе Солнца; но этим ему удалось обворожить и преступно околдовать священного повелителя, и тот назначил его своим личным слугой и чтецом; а Монт-кау обращается с ним и вовсе как со своим сыном, вернее даже – как с молодым хозяином, позволяя ему знакомиться со всем в доме, как будто тот достанется ему в наследство, и изображать из себя заместителя управляющего – это паршивому-то азиату в египетском доме! Он, Дуду, осмеливается почтительнейше указать госпоже на эти ужасные обстоятельства, ибо разгневанный ими Сокрытый может отомстить за столь пагубное свободомыслие тем, кто в нем провинился и его терпит.

– И что же ответила госпожа? – спросил Иосиф. – Передай мне все в точности, маленький Боголюб, и постарайся повторить ее собственные слова.

– Вот ее слова, – отвечал карлик. – «Покуда вы говорили, смотритель одежной, – сказала она, – я все думала, кого собственно вы имели в виду и на какого раба вы жаловались, ибо моя память ничего мне не подсказала.

Вы не можете от меня требовать, чтобы я помнила всех слуг дома и сразу же догадывалась, на кого вы изволили намекнуть. Но поскольку вы дали мне время подумать, у меня возникло предположение, что вы имеете в виду того еще юного годами слугу, который с некоторых пор за обедом наполняет кубок супругу моему Петепра. Этот серебряный набедренник я при известном усилии смутно припоминаю».

– Смутно? – не без разочарования переспросил Иосиф. – Возможно ли, чтобы у нашей госпожи было такое уж смутное представление обо мне, если я каждодневно нахожусь близ нее и близ господина во время трапез, да и вообще она не может не знать о милости, которой я пользуюсь у него и у Монт-кау? Я удивлен, что ей пришлось так долго и напряженно рыться в памяти, прежде чем она сообразила, о ком говорил этот зловердный Дуду. А что она еще сказала?

– Она сказала, – продолжил свой отчет карлик, – она сказала вот что: «Зачем, однако, вы приходите с этим ко мне, смотритель одежной? Вы же навлекаете на меня гнев Амуну. Ведь вы сами сказали, что он разгневается на тех, кто терпит подобные непорядки. А если я ничего не знаю, то, значит, я ничего не терплю, и вам следовало бы пощадить меня и оставить в неведении, а не подвергать ненужной опасности».

Над этими словами Иосиф посмеялся и горячо их одобрил.

– Какой великолепный ответ и какой умный выговор! Рассказывай дальше о госпоже, маленький Бес! Только повтори мне все в точности, ибо, надеюсь, ты был внимателен!

– А дальше, – отвечал Боголюб, – говорил зловердный Дуду. Он стал оправдываться и сказал: «Я сообщил госпоже об этом ужасном положении не для того, чтобы она терпела его, а для того, чтобы она его прекратила; из любви к ней я предоставил ей возможность оказать услугу Амуну, посоветовав господину выгнать этого нечистого раба из дому и, поскольку он уже куплен, отправить, как то ведется, на барщину, чтобы он не сделался здесь управляющим и, обнаглев, не поставил себя выше детей страны».

– Прескверно, – сказал Иосиф. – Отвратительная, гнусная речь! Но госпожа, что ответила ему госпожа?

– Она, – доложил Боголюб, – ответила так: «Ах, строгий карлик, госпоже редко удается поговорить по душам с господином. Прими во внимание чинность этого дома и пойми, что у нас с господином не такие отношения, как, например, у тебя с той, что обнимает тебя одной рукою, с твоей задушевной подругой Цесет. Она запросто приходит к тебе, смело говорит с тобой, со своим супругом, обо всем, что касается ее и тебя, и при случае дает тебе те или иные советы. Она мать, она родила тебе двоих пригожих детей, Эсези и Эбеби, а поэтому ты благодарен ей и у тебя есть все основания прислушиваться к голосу такой заслуженной,

плодовитой жены и уважать ее желания и ее просьбы. А кто я нашему господину, с какой стати он будет меня слушаться? Ты знаешь, как велико его упрямство, какое у него гордое и глухое сердце; я бессильна перед ним со своими увещеваниями».

Иосиф помолчал, задумчиво глядя поверх своего маленького друга, который озабоченно подпер ручкой измятое личико.

– Ну а что сказал на это хранитель платья? – спросил через несколько мгновений сын Иакова. – Нашел ли он какой-нибудь ответ и продолжал ли нести свое?

Малыш ответил отрицательно. После слов госпожи Дуду с достоинством умолк; зато госпожа прибавила, что постарается поскорей поговорить об этом с отцом первосвященником. Ведь поскольку Петепра возвысил этого чужеземца, после того как услышал его рассуждения о делах солнечных, здесь явно замешаны политика и религия, а это уже касается Бекнехонса, князя Амуна, ее друга и исповедателя. Он должен обо всем узнать, и в его отцовское сердце изольет она для своего облегчения то, что поведал ей об этом беспорядке Дуду.

Вот каковы были новости доброго карлика. Но позднее Иосиф вспоминал, что тогда Бес-эм-хеб долго еще сидел у него – в смешном своем наряде, с душницей на парике, опершись подбородком на ручку и мрачно шурясь.

– Что ты шуришься, Боголюб в доме Амуна, – спросил он, – зачем продолжаешь размышлять об этих делах?

А тот ответил своим стрекочущим голоском:

– Ах, Озарсиф, малыш думает о том, как это нехорошо, что наш злой куманек говорит о тебе с нашей госпожой Мут, – это очень и очень нехорошо!

– Конечно, – сказал Иосиф. – Зачем ты говоришь мне об этом? Ведь я и сам знаю, что это совсем нехорошо и даже опасно. Но видишь, я принимаю это с легким сердцем, ибо надеюсь на бога. Разве госпожа не призналась сама, что она не имеет такого уж большого влияния на Петепра? Ее словечка и знака еще далеко не достаточно, чтобы отправить меня на барщину, можешь не беспокоиться!

– Как же мне не беспокоиться, – прошептал Бес, – если это опасно и по-другому, совсем в другом отношении – то, что наш куманек, поговорив с госпожой, прояснил ее смутное представление о тебе.

– Ну, это пойми, кто может! – воскликнул Иосиф. – Я, во всяком случае, этого не понимаю, и мне темна карличья твоя болтовня. Опасна и по-другому, совсем с другой стороны? Что за темные слова ты мне шепчешь?

– Да, я шепчу, шепчу о своем страхе и о своих подозрениях, – послышался снова голос маленького Боголюба, – я вышептываю тебе беспокойную карличью мудрость, которая до тебя, долговязого, никак не доходит. Куманек хочет сделать тебе худо, но возможно, что он, против собственной воли, сделает тебе доброе дело, и даже слишком доброе, так что опять получится худо, куда хуже, чем рассчитывал сделать.

– Ну, дружок, ты на меня не обижайся, но того, что лишено смысла, человек не может понять. Худо, хорошо, слишком хорошо, еще хуже? Да это какая-то карличья галиматья, какая-то пустяковая тарабарщина, которой я при всем желании не в силах понять!

– А почему ты покраснел, Озарсиф, и почему ты сердишься так же, как раньше, когда я тебе сказал, что у госпожи было о тебе смутное представление? Карличья мудрость предпочла бы, чтобы оно так и осталось смутным, ибо это опасно, дважды опасно, еще опаснее опасности, что проклятый куманек заморочит ее своей зловредностью. Ах, – сказал малыш и спрятал лицо в ладошках, – карлик полон страха и ужаса перед врагом, перед быком, чье огненное дыханье опустошает ниву.

– Какую ниву? – спросил Иосиф с подчеркнутым недоумением. – И что это за огнедышащий бык? Ты сегодня немного не в себе, и я ничем не могу тебе помочь. Сходи к Краснопузому, пусть он попочует тебя успокоительным соком кореньев, который охладит твою голову.

А я займусь своими делами. Могу ли я помешать Дуду жаловаться на меня госпоже, даже если это и очень опасно? Однако ты видишь, что я надеюсь на бога, и поэтому ты не должен отчаиваться. Будь и впредь начеку и старайся не пропускать ни одного слова из того, что Дуду будет говорить госпоже, а особенно из ее ответов, чтобы передавать мне все в точности. Ибо мне нужно знать все толком.

Вот как (и позднее Иосиф вспоминал это) проходил тогда разговор, во время которого маленький Боголюб держался так странно испуганно. Но в самом ли деле только благодаря надежде на бога и без всяких иных оснований Иосиф так сравнительно бодро воспринял известие о кознях Дуду?

До сих пор он был для своей повелительницы если не в полном смысле слова пустым местом, то, по крайней мере, незаметным предметом домашней утвари, таким же, каким был в роли Немого Слуги для Гуия и для Туий. Дуду, желая ему зла, во всяком случае, изменил это положение. Если теперь во время трапез, когда Иосиф подавал кушанья и наполнял кубок своему господину, на него падал взгляд госпожи, то падал он уже не по чистой случайности, как на предмет неодушевленный, – нет, теперь она глядела на него лично, глядела, как на явление, имеющее свою подоплеку и свои связи, которые дают приятный или неприятный повод задуматься. Одним словом, эта знатная дама Египта стала с недавних пор его замечать. Ее внимание было, разумеется, очень слабым и мимолетным; сказать, что глаза ее задерживались на нем, было бы преувеличением. Но на мгновение, на какой-то миг они не раз испытующе к нему устремлялись – при мысли, впрочем, и при воспоминании о том, что она должна поговорить о нем с Бекнехонсом; а Иосиф, глядя сквозь ресницы, отмечал такие мгновения; ни одно из них, при всем внимании, которое он должен был уделять Петепра, от него не ускользало, хотя всего лишь один или два раза этот взгляд был двусторонним и их глаза, глаза госпожи и слуги, случайно встречались, и тогда ее взор оказывался равнодушным, гордым и строго-неторопливым, а его взгляд, полный сначала почтительного испуга, поспешно скрывался за веками и становился смиренным.

Это стало случаться после того, как Дуду побеседовал с госпожой. Прежде этого не случилось, и, говоря между нами, это было Иосифу не так уж и огорчительно. Он видел в этом известный успех и был почти благодарен своему врагу Дуду за его донос. И когда Бекнехонс явился в гарем в следующий раз, Иосифу была довольно-таки приятна мысль, что речь там пойдет, вероятно, о нем, Иосифе, и о его возвышении. С этой мыслью, при всей ее тревожности, было связано известное удовлетворение, более того – радость.

Какие именно там велись речи, он узнал опять-таки от потешного визиря, умудрившегося подслушать их из какого-то закутка. Сначала жрец и дама из ордена беседовали о делах богослужбных и о светских событиях – они, как, пользуясь вавилонским выражением, говорили дети Египта, «чесали язык», другими словами, перебирали столичные сплетни; и когда потом зашла речь о Петепра и о его доме, госпожа действительно передала своему духовному другу жалобу Дуду и рассказала ему о беспорядке с рабом-евреем, которому царедворец и его управляющий столь вызывающим образом мирволят и покровительствуют. Бекнехонс выслушал это сообщение, качая головой, так, словно оно подтверждало его печальные ожидания общего характера и как нельзя лучше соответствовало нравственному облику эпохи, почти вовсе утратившей благочестие тех времен, когда в ходу были такие узкие и короткие набедренники, как у него, Бекнехонса. Это, сказал жрец, несомненно скверный признак. Вот он, разрушительный дух пренебрежения к исконному мироустройству: поначалу изысканный и веселый, он затем поневоле оборачивается запустением и дикостью и, разрушая самые священные связи, истощает страны, и вот уже скипетр их не внушает страха на побережье, и царство гибнет. По словам маленького Боголюб, первосвященник тотчас же отклонился от темы: он увлекся и, указуя перстами в разные стороны, стал рассуждать о делах государственных, о господстве над миром, о сохранении власти. Он говорил о митаннийском царе Тушратте,

которого следует сдерживать с помощью Шуббилулимы, великого правителя царства Хатти на севере, не допуская, однако, чтобы тот сдерживал его слишком успешно. Ведь если воинственная Хета, целиком подчинив себе Митанни, продвинется на юг, то это представит опасность для сирийских владений фараона, добытых завоевателем Мен-хепер-Ра-Тутмосом, тем более что она и так может в один прекрасный день, обойдя Митанни, вторгнуться в приморскую страну Амки между Амановыми и Кедровыми горами, если того пожелают дикие боги Хеты. Правда, на шахматной доске мира этому противостоит фигура аморитянина Абдаширту, который, будучи данником фараона, правит землями между Амки и Ханигалбатом и призван препятствовать продвижению Шуббилулимы на юг. Но препятствовать этому продвижению аморитянин станет лишь до тех пор, покуда страх перед фараоном будет в его сердце сильнее, чем страх перед Хатти, – а иначе он непременно стакнется с Хатти и предаст Амуна. Ведь все эти царьки, платящие дань после покорения Сирии, сразу же становятся предателями, стоит лишь хоть немного ослабеть страху, в котором приходится держать всех, в том числе бедуинов и кочевников-степняков, которые, не будь у них страха, кинулись бы на плодородную землю и опустошили бы города фараона. Короче говоря, множество забот требует от Египта решительности и собранности, если он хочет сохранить своему скипетру страх, а своим венцам – царство. А поэтому он должен, как в древние времена, благочестиво блюсти обычаи и не отступать от правил строгой нравственности.

– Сильный человек, – сказал Иосиф, выслушав эту речь. – Вместо того чтобы посвятить себя богу и быть зеркальноголовым слугой господним, который, как добрый отец своего народа, протягивает руку всем, кто оступится, – вместо этого он целиком занят земными делами и политическими вопросами – просто удивительно. Говоря между нами, маленький Боголюб, заботу о царстве и страхе народов он должен был бы предоставить фараону, который для того и сидит во дворце; ведь можно не сомневаться, что во времена, восхваляемые им в ущерб нынешним, отношения между храмом и дворцом были именно таковы. А наша госпожа – она больше ничего не сказала после его слов?

– Я слышал, – сказал карлик, – как она ответила на эти слова. Она ответила так: «Ах, отец мой, разве я ошибаюсь: когда Египет держался благочестивых и строгих обычаев, он был беден и мал, и ни на юг, за пороги реки, в страну негров, ни на восток, к попятнотекущей реке, не уходили его рубежи так далеко по землям платящих оброк народов. Но бедность уступила место богатству, а из тесноты возникло царство. Теперь и страны, и Уазе, великая их столица, кишат чужеземцами, богатства так и текут в Египет, и все стало новым. Но разве тебя не радует и новое, итог и награда старого? Из оброка, выплачиваемого народами, фараон приносит щедрые жертвы отцу своему Амуну, благодаря чему этот бог может строить сколько его душе угодно, наполняясь силой, словно река весной, когда вода ее достигает самого высокого уровня. Так неужели отец мой не одобряет хода событий, последовавшего за благочестивой стариной?»

«Совершенно справедливо, – ответил на это, как передал Боголюб, Бекнехонс, – дочь моя очень верно ставит вопрос о странах, ибо вопрос этот стоит так: добрая старина несла в себе новое, то есть богатство и царство, как свою награду, но награда, то есть богатство и царство, – несет в себе ослабление, истощение, утрату. Как же поступить, чтобы награда не стала проклятием, чтобы добро не вознаградилось в итоге злом? Вот как стоит вопрос, и карнакский владыка, бог царства Амун, отвечает на него так: старое должно властвовать в новом, а править царством должны сила и строгость, и тогда царство не ослабеет и не лишится заслуженной им награды. Ибо не сыновьям нового, а сыновьям старого по праву принадлежит царство и подходят венцы: и белый, и красный, и синий, и, кроме того, венец богов».

– Убедительно, – сказал Иосиф, когда карлик умолк. – Убедительный, сильный ответ довелось тебе услышать благодаря твоему малому росту, дружок Боголюб. Он пугает меня, хотя и не удивляет, ибо, в сущности, я всегда подозревал, что таковы взгляды Амуна, – подозревал

уже с тех пор, как впервые увидел его ратников на улице Сына. И едва лишь наша госпожа заикнулась обо мне, Бекнехонс так увлекся, что про меня они, видно, и вовсе забыли. Вернулись ли они, насколько тебе удалось услышать, к разговору обо мне вообще?

Они сделали это, доложил Шепес-Бес, лишь в самом конце, и на прощанье первосвященник Амуна пообещал в ближайшее время взяться за Петепра и заставить его задуматься о покровительстве рабу-чужеземцу с точки зрения суровых старинных правил.

– В таком случае, – сказал Иосиф, – я должен дрожать, я должен бояться, что Амун положит конец моему возвышению, ибо как мне жить, если он будет против меня? Это очень скверно, дружок Боголюб. Ведь если я окажусь на барщине теперь, после того как писец урожая уже сгибался передо мной, мне придется еще хуже, чем если бы я попал в поле сразу и днем изнывал бы там от зноя, а ночью дрожал от холода. Ты думаешь, Амуну удастся так со мной обойтись?

– Я не настолько глуп, – застрекотал малыш. – Я ведь не женат, чтобы утратить карличью мудрость. Правда, я вырос – если я вправе так выразиться – в страхе перед Амуну. Но я давно понял, что за тобой, Озарсиф, стоит бог, который сильнее и умнее Амуна, и я никогда не поверю, чтобы он отдал тебя в его руки и позволил тому, что в капище, указать твоему возвышению иной предел, нежели назначенный им самим.

– А если так, то не горюй, Бес-эм-хеб, – воскликнул Иосиф, осторожно, чтобы не причинить ему боли, ударив по плечу карлика, – и не беспокойся обо мне! В конце концов я тоже могу поговорить с господином с глазу на глаз и заставить его кое о чем призадуматься, тем более что об этом, наверно, задумывается и его господин – фараон. Вот он и послушает нас обоих, Бекнехонса и меня. Первосвященник будет говорить ему о рабе, а раб – о боге, – посмотрим, к кому он отнесется с большим вниманием, то есть я хочу сказать: не к кому, а к какому предмету, пойми меня правильно. А ты, мой друг, будь по-прежнему начеку и, когда Дуду станет снова жаловаться на меня госпоже, благоразумно схоронись в закутке, чтобы я опять услышал и его слова, и ее!

Так и было. Ибо известно, что одной жалобой дело не ограничилось, что смотритель одежной не отступался и время от времени осуждающе напоминал Мут-эм-энет о возмутительном покровительстве какому-то чужеземцу из карающей ямы. Боголюб занимал при этом свой наблюдательный пост и, донося обо всем Иосифу, добросовестно уведомлял его о каждом шаге Дуду. Но даже если бы он и не был столь бдителен, Иосиф все равно узнавал бы о каждой жалобе женатого карлика на его, Иосифа, возвышение; ибо за ней следовали взгляды в столовой. И если они на много дней прекращались, так что Иосиф уже начинал грустить, то их возврат и мгновения, когда эта женщина снова смотрела на него испытующе-строго, как на человека, а не как на вещь, ясно показывали ему, что Дуду опять приходил к ней с жалобами, и тогда Иосиф говорил себе: он напомнил ей обо мне. Как это опасно! А сам думал при этом: «Как это отраднo!» – и был даже до некоторой степени благодарен Дуду за то, что он напомнил о нем.

Иосиф все больше превращается в египтянина

Уже невидимый отцовскому глазу, но живой по-прежнему и оставшийся вдали от него самим собой, Иосиф вглядывался и вживался в египетское бытие: он быстро надел ярмо новых требований, хотя мальчиком, в первой своей жизни, не знал никаких обязанностей и усилий и коротал дни как придется; теперь он деятельно старался подняться на высоту намерений бога, занятый цифрами, инвентарем, товарами, деловыми частностями, а кроме того, вовлеченный в сеть щекотливых, требующих неперестанного внимания человеческих отношений, нити которой вели к Потифару, к доброму Монт-кау, к карлика и бог весть к кому еще внутри и вне

дома, – обо всех этих людях на старом его месте, там, где был Иаков и были братья, никто и знать не знал.

Это было далеко-далеко, дальше, чем в семнадцать дней пути, и еще дальше, чем были удалены от своего сына Исаак и Ревекка, когда Иаков вглядывался и вживался в бытие месопотамское. Тогда они тоже понятия не имели о людях и отношениях, окружающих сына, а ему было совсем чуждо их бытие. Где ты, там и мир – узкий круг, в котором живешь, познаешь и действуешь; остальное – туман. Правда, люди всегда стремились переместиться, чтобы погрузилось в туман то, что примелькалось, и поглядеть на иное бытие. Сильно было среди них и неффалимовское стремление – метнуться в туман и сообщить его жителям, которые знали только свой мир, о мире здешнем, и, наоборот, доставить домой любопытные сведения об их бытии. Короче говоря, сообщение и связи существовали. Существовали они испокон веку и между далекими друг от друга местами людей Иакова, с одной стороны, и Потифаровыми, с другой. Ведь уже и урский странник, привыкший менять поле своего зрения, побывал в Стране Ила, хотя, впрочем, не так далеко внизу, как Иосиф теперь, а его супруга-сестра, «прабабка» Иосифа, одно время находилась даже в гареме фараона, который тогда блистал на своем горизонте еще не в Уазе, а выше, несколько ближе к сфере Иакова. Связи между этой сферой и той, что включала теперь в себя Иосифа, существовали всегда: разве мрачный красавец Измаил не взял в жены одну из дочерей Ила и разве не этому союзу были обязаны своим существованием полуегиптяне-измаильтяне, избранные и призванные доставить Иосифа вниз? Множество людей, как и они, занималось торговлей между реками, и тысячу лет и дольше сновали по миру гонцы в набедренниках с письмами-кирпичами в складках одежды. Но если эта неффалимовская деятельность была привычной и давней, то расширилась и распространилась она только теперь, в эпоху Иосифа, когда страна его второй жизни и его отрешения стала уже настоящей страной внуков, не замыкаясь более в строгом своеобычии, как того все еще хотел Амун, а приветливо открывшись миру и проникшись такой вольностью нравов, что никому не ведомому мальчику-азиату потребовалось только известное умение прощаться на ночь и делать из нуля двойку, чтобы стать личным слугой египетского вельможи и всем, чем угодно!

О нет, в возможностях связи между местами Иакова и местами его любимца не было недостатка; но Иосиф, в чьей власти было воспользоваться ими (ведь он знал местонахождение отца, а тот его местонахождения не знал) и которому это ничего не стоило, так как, будучи правой рукой управляющего большим хозяйством и отлично постигнув искусство обобщать и обозревать, он мог прекрасно обозреть и способы снестись с отцом, – Иосиф этого не делал, не делал в течение многих лет, не делал по причинам, давно уже нам известным, ни одна из которых, пожалуй, не будет обойдена, если определить их одним словом: ожидание. Теленок не мычал, он молчал, как мертвый, и, не давая знать корове, на какое поле отвел его человек, он, разумеется, с согласия человека, требовал ожидания и от нее, сколь бы трудным оно ни было именно для нее, ибо корова вынуждена была считать теленка растерзанным.

Нам странно подумать, нас даже смущает мысль, что Иаков, этот скрытый где-то в тумане старик, все это время считал своего сына мертвым, – она смущает нас потому, что, с одной стороны, за него можно порадоваться, так как он заблуждался, а с другой стороны, как раз из-за этого заблуждения его и жаль. Ведь известно, что для того, кто любит, смерть любимого человека имеет и свои преимущества, хотя преимущества, может быть, и несколько унылого характера; и, следовательно, если разобраться, то этот искупающий свою вину старец заслуживает двойного сострадания, коль скоро он считал Иосифа мертвым, а тот даже и не был мертв. Отцовское сердце тешило себя – правда, казнясь тысячей мук, но все же и к сладостному своему утешению, – уверенностью в его смерти; оно мнило, что он, хранимый и укрытый смертью, неизменен и неуязвим, что он больше не нуждается в опеке и навек остался тем семнадцатилетним мальчиком, который уехал верхом на белой Хульде; а все это было сплошным заблуждением – и муки, и постепенно побеждавшая их утешительная уверенность. Ибо тем

временем Иосиф был жив и не был застрахован ни от каких передраг. Хоть и похищенный, он не был отнят у времени и не оставался семнадцатилетним юнцом, а рос и созревал там, где он был: ему исполнялось и девятнадцать, и двадцать, и двадцать один; разумеется, он был по-прежнему Иосифом, но отец уже не узнал бы его, во всяком случае – с первого взгляда. Материя его жизни менялась, сохраняя, однако, свое счастливое благообразие; он созревал и делался шире и крепче, будучи уже не полумальчиком-полуюношей, а полуюношей-полумужчиной. Еще несколько лет, и от материи того Иосифа, которого обнимал на прощанье Иаков-Ревекка, не останется уже ничего – не больше, чем если бы плоть его была разрушена смертью; только меняла его не смерть, а жизнь, и поэтому облик Иосифа до некоторой степени уцелел. Он уцелел в меньшей мере, чем его могла уберечь в чьем-либо сердце и действительно обманчиво уберегла в сердце Иакова охранница-смерть. Нужно, однако, иметь в виду, что когда речь идет об облике и материи, то вовсе не так и существенно, как нам это кажется, кто удалил из поля нашего зрения то или иное лицо – смерть или жизнь.

Вдобавок и материя, благодаря которой она, меняясь и созревая, приобретала свой облик, жизнь Иосифа извлекала совсем из другой сферы, чем если бы он оставался на глазах у Иакова, а это тоже накладывало отпечаток на его облик. Его питали воздух и соки Египта, он ел пищу Кеме, клетки его тела пропитывались и набухали влагой этой страны, облучались ее солнцем; он одевался в полотно из ее льна, ходил по ее земле, сообщавшей ему свои старые силы и свои безмолвные идеи формы, изо дня в день видел воочию рукотворные воплощения этой безмолвно-решительной всесвязующей главной идеи, наконец, говорил на языке этой страны, который видоизменил его губы и его подбородок настолько, что вскоре Иаков, отец, сказал бы ему: «Отпрыск мой, Даму, что случилось с губами твоими? Я не могу их узнать».

Словом, Иосиф все больше превращался в египтянина лицом и манерами, и происходило это с ним легко, быстро и незаметно, ибо он, как истинное дитя мира, отличался гибкостью души и материи, а кроме того, пришел в эту землю еще очень юным и мягким; тем проще и тем удобней приобретала его натура местные черты, что, во-первых, если говорить о предпосылках физических, – в облике его, бог весть почему, всегда было что-то египетское – тонкие члены, лежесные плечи, а во-вторых, если говорить о нравственных предпосылках, положение приспособляющегося к жизни «детей страны» чужеземца было для него не новым, а издавна знакомым, традиционным: ведь и дома он и его соплеменники, потомки Авраама, всегда жили среди детей страны как гости, как «герим», хоть и давно уже обвыкнув, освободившись, приладившись и прижившись, но все же с какой-то внутренней оговоркой, с отстраненным и трезвым взглядом на мерзкие бааловские обычаи истинных детей Канаана. Так жил теперь и Иосиф в земле Египетской; как дитя мира, он легко примирял внутреннюю оговорку с приспособленчеством, ибо эта-то оговорка и помогала ему приспособляться, не боясь, что он предаст бога, элохима, который привел его в эту страну и на чье согласие и милостивую снисходительность следовало доверчиво рассчитывать, если он, Иосиф, будет во всех отношениях походить на египтянина и внешне целиком уподобится сынам Хапи и подданным фараона – но, конечно, раз навсегда оговорит эту молчаливую свою оговорку. Удивительная получалась картина: с одной стороны, именно как дитя земное, он бодро приспособлялся к быту сынов Египта и был в ладу с их прекрасной культурой; но, с другой стороны, они-то как раз и были детьми земными, на которых он глядел отрешенно, с доброжелательной снисходительностью, проникнутый духовной иронией своего племени по отношению к затейливой мерзости их обычаев.

Его захватил и закружил египетский год с чередой своих времен, с непрерывным хором своих праздников, началом которого можно было считать любой: новогодний праздник в начале затопления, невероятно суматошный и богатый надеждами день, оказавшийся, впрочем, как выяснится, роковым для Иосифа; или годовщину вступления на престол фараона, день, когда вновь оживали радостные надежды народа, связанные с первым днем нового прав-

ления и новой эпохи: что теперь на смену несправедливости придет справедливость и что люди будут жить, не уставая смеяться и удивляться; или любой другой памятный и праздничный день; ибо это был круговорот повторений.

Иосиф вступил в природу Египта в пору спада воды, когда уже обнажилась земля и совершился посев. В эту пору Иосиф был продан, а потом он последовал дальше в глубь года и вместе с ним закружился: пришла пора урожая, длившаяся, судя по ее названию, вплоть до знойного лета и до тех дней, которые мы называем июнем, когда обмелевшая река, к благоговейному ликованию народа, вновь поднималась и медленно выходила из берегов, тщательно наблюдаемая и измеряемая чиновниками фараона, ибо весьма важно было, чтобы река разливалась правильно, не слишком буйно, но и не слишком вяло, так как от этого зависело, будет ли пища у детей Кеме, выдаться ли удачный для сбора налогов год и сможет ли фараон продолжить строительные работы. Шесть недель поднимался и поднимался кормилец-поток, он поднимался бесшумно, пядь за пядью, и днем, и ночами, когда люди спали, но даже и во сне не переставали верить в него. И лишь позднее, в пору самого жаркого солнца, которую мы назвали бы второй половиной июля, а дети Египта называли месяцем паофи, вторым месяцем своего года и своего первого времени года, того, что именовалось ахет, поток набирал полную силу и разливался далеко в обе стороны, затопляя поля и покрывая страну, эту особенную, неповторимую, не имевшую себе равных в мире страну, которая поэтому, на первых порах к веселому изумлению Иосифа, превращалась в одно сплошное священное озеро, где, однако, благодаря возвышенному их положению, выступали, подобно островам, города и деревни, связанные между собой проезжими насыпями. Так, давая своему туку, питательному своему илу, осесть на поля, бог стоял целых четыре недели, вплоть до второго, зимнего времени года, которое называлось перет: тут он начинал чахнуть и вновь входить в свои берега – «воды убывали», так определял это явление глубоко пораженный Иосиф, и к нашему январю уже снова уменьшались в старом своем русле, где, впрочем, продолжали спадать и убывать до самого лета; и семьдесят два дня – это были дни семидесяти двух заговорщиков, дни зимней засухи, когда бог терял силы и умирал, – проходило до того дня, когда фараоновы стражи потока сообщали, что он вновь стал расти и что начался новый благословенный год, может быть, умеренный, а может быть, и обильный, но во всяком случае, избави Амурн, не голодный и не настолько бедный оброками, чтобы фараон и вовсе перестал строить.

Для Иосифа время от нового года до нового года или от той поры, когда он впервые вступил в эту страну, до другой такой же, летело быстро; быстро, откуда ни считай, летело оно через три поры года, затопление, посев и жатву, через четыре месяца каждой поры, через праздники, которые каждую из них украшали и в которых он, как дитя мира, участвовал, упоывая на высшую снисходительность и с внутренней оговоркой; участвовать в них, и притом с самым невозмутимым видом, он должен был хотя бы уже потому, что идолопоклоннические эти празднества были тесно связаны с хозяйственной жизнью, а он, состоя на службе у Петепра и будучи поверенным Монт-кау, не мог избегать приуроченных к священным обрядам рынков и ярмарок, ибо торговая жизнь всегда бьет ключом в больших человеческих скопищах. В преддверьях фиванских храмов торговля, благодаря повседневному жертвоприношениям, велась непрерывно; но и выше и ниже по реке было множество мест паломничества, куда отовсюду толпами стекался народ, если тот или иной бог, справляя свой праздник, украшал свой дом, вещал устами гадателей и одновременно с подкреплением духовным обещал гулянья, веселую толчею, шумные торжища. Не у одной только Бастет, этой почитаемой в Дельте кошки, был свой праздник, о котором Иосиф некогда услышал всякие непристойности. К мендесскому или, как говорили дети Кеме, к джедетскому козлу богомольцы из дальних и ближних мест ежегодно прибывали точно такими же и даже, пожалуй, еще более веселыми толпами, так как грубый и похотливый козел Биндиди был еще популярнее кошки Бастет и во время своего праздника публично совокуплялся с какой-нибудь девственницей. Мы можем, однако, поручиться за то,

что Иосиф, хоть он и совершал деловые поездки на козлиную ярмарку, на это зрелище никогда не оглядывался и, как поверенный своего управляющего, был занят только сбытом папируса, посуды и овощей.

При всех своих свойствах сына мира, на многое в этой стране и в ее обычаях, точнее сказать, праздничных обычаях, ибо праздник – это большой день и апофеоз обычая, – Иосиф, думая об Иакове, не оглядывался или если уж оглядывался, то глядел с самым холодным и отрешенным видом. Так, он не любил любви здешнего люда к хмельному: сочувствовать этому пристрастию ему мешали и воспоминания о Ное, и пример трезвой вдумчивости отца, и собственная природа, которая была веселой и светлой, но питала отвращение к оупляющему дурману. Дети же Кеме только и радовались случаю опьянить себя пивом или вином – и мужчины и женщины. По праздникам у египтян бывало столько вина, что они могли пить четыре дня подряд вместе с детьми и женами и все это время никуда не годились. Но, кроме того, бывали и особые питейные дни, например, большой пивной праздник в честь одной старой истории о том, как Хатхор, эта могущественная богиня, эта львиноголовая Сахмет, чуть не уничтожила, разъярившись, людей и полное истребление нашего рода было предотвращено только вмешательством Ра, ухитрившегося допьяна напоить ее подкрашенным кровью пивом. Поэтому в соответствующий день дети Египта выпивали совершенно невероятное количество пива – темного пива, очень крепкого пива хес, пива с медом, пива заморского и пива, сваренного в самом Египте, главным образом в городе Дендере, местопребывании Хатхор, куда для этой цели и отправлялись и который, как обитель богини пьянства, даже назывался «столицей пьянства».

На это Иосиф не очень-то оглядывался и пил только для виду, только из вежливости, не больше, чем это требовалось для дела и для приспособления к здешним нравам. Весьма отрешенно, памятуя об Иакове, глядел он и на некоторые другие местные обычаи, дававшие знать о себе во время большого праздника владыки мертвых Усира, в самые короткие дни года, когда умирало солнце – хотя вообще-то к этому празднику, к его играм и представлениям Иосиф относился с сочувственным вниманием. Эти дни были годовщиной страданий растерзанного, похороненного и воскресшего бога, чья история, в виде блистательного маскарада, воспроизводилась жрецами и народом со всеми ее ужасами и со всей радостью по поводу воскресения, которая выражалась подпрыгиваньем на одной ноге и всяким традиционным шутовством, включавшим в себя и древние, никому уже толком не понятные лицедейства: например, устраивались очень жестокие потасовки между двумя группами людей, одна из которых изображала «жителей города Пе», а другая – «жителей города Депа», хотя никто понятия не имел, что это за города; или же с насмешливым гоготом и опять-таки очень жестоко колотя их по спинам палками, прогоняли вокруг города стадо ослов. В том, что это животное, считавшееся символом фаллической мощи, осыпали насмешками и ударами, заключалось известное противоречие, ибо, с другой стороны, праздник умершего и похороненного бога был также чествованием напряженной мужской силы, которая прорвала свивальники Усира, благодаря чему Исет, в виде самки коршуна, зачала от него сына-мстителя, и в деревнях в эти дни года женщины устраивали величальные шествия с фаллом в локоть длиной, который они приводили в движение с помощью особых веревочек. Таким образом, насмешки и побои противоречили величаньям; противоречили же они им по той понятной причине, что упрямое продолжение рода было, с одной стороны, делом горячо любимой жизни и плодотворного бытия, а с другой стороны, и тут-то вся суть, делом смерти. Ведь Усир был мертв, когда от него зачинала Изид-коршун; все боги обретали в смерти упрямую плодовитость, и в этом-то, говоря между нами, и заключалась причина, почему Иосиф, при всем своем личном сочувствии празднику Усира, Растерзанного, не глядел на некоторые обряды этого праздника и внутренне отрешался от них. Что же это за причина? Говорить о ней щекотливо и трудно, если один ее знает, а другой еще не видит ее, – что, впрочем, вполне простительно, тем более что сам Иосиф почти не видел ее и она наполовину, если не на три четверти, ускользала от его сознания. Тут сказыва-

вался едва ощутимый, почти безотчетный страх его совести перед изменой, изменой «господину» – независимо от того, к кому будет отнесено обозначенное этим словом понятие. Нельзя забывать, что он считал себя мертвым, принадлежащим царству мертвых, где он теперь рос, нельзя забывать, какое имя принял он там с рассудительной дерзостью. Да и не так уж велика была его дерзость, коль скоро дети Мицраима давно уже добились того, чтобы каждый из них, даже самый ничтожный, становился после смерти Усиром и сочетал свое имя с именем Растерзанного, по тому же образцу, по какому бык Хапи превращался по смерти в Сераписа, то есть так, чтобы это сочетание значило «умереть и стать богом» или «быть как бог». А это-то «быть богом» и «умереть» наводило на мысль о прорывающей свивальники мужественности; и полусознанный страх Иосифа был связан с тайной догадкой, что известные взоры, пугающе и отраднo вкравшиеся тогда из-за Дуду в его жизнь, имеют уже далекое, но опасное отношение к божественной плодовитости смерти, а значит – к измене.

Итак, мы сказали, мы как можно деликатнее объяснили, почему Иосиф старался не видеть обрядов Усирова праздника, – ни шествий деревенских женщин, ни избиваемых палками ослов. А вообще-то, и в городах и в деревнях, он многое видел в украшенном праздниками круговороте года египетского. Случалось ему, по мере того как бежали годы, видеть и фараона... Ибо бывало, что бог являлся людям – не только у «окна появления», где он в присутствии некоторых избранных лиц осыпал счастливых золотыми наградами, но и когда он благоволил воссиять над горизонтом дворца и показаться в полном своем великолeпии всему народу, который при этом от радости начинал скакать на одной ноге, как то было предписано, да и вполне отвечало внутренним побуждениям детей Египта. Фараон, как заметил Иосиф, был толст и приземист, цвет лица у него был, по крайней мере когда сын Рахили увидел его во второй или в третий раз, не очень хороший, а выражение его глаз удивительно напоминало Монт-кау, когда у того ныла больная почка.

Действительно, в те годы, которые Иосиф провел в доме Петепра, все больше там возвышаясь, Аменхотеп Третий, Неб-ма-ра, начал хворать, обнаруживая в своем физическом состоянии, по мнению сведущих во врачебном искусстве жрецов храма и волшебников книгохранилища, усиливающуюся склонность к воссоединению с Солнцем. Воспрепятствовать этой склонности пророки-целители никоим образом не могли, поскольку она имела слишком много естественных оснований. Когда Иосиф во второй раз проходил круг египетского года, божественный сын Тутмоса Четвертого и митаннийки Мутемвейе отмечал тот юбилей своего царствования, который назывался хебсед, иными словами, тогда исполнилось тридцать лет с тех пор, как он, с бесчисленными церемониями, точнейшим образом повторявшимися в великую годовщину, надел на свою голову двойной венец.

Великолепная, почти свободная от войн жизнь властелина, отягощенная иератической пышностью и заботами о стране, словно золотыми плащами, наполненная охотничьими радостями, на память о которых он раздавал каменных скарабеев, и гордая своими строительными свершениями, – эта жизнь была у него позади, и теперь его природа претерпевала упадок, как природа Иосифа – рост. Прежде величество этого бога страдало лишь от частой зубной боли, каковой способствовала его привычка грызть смолисто-пахучие сладости, так что оно нередко присутствовало на аудиенциях и на государственных приемах в престольной палате с распухшей щекой. Но после хебседа (когда Иосиф увидел божественный выезд) недомогание пошло уже от других, более глубоко скрытых органов: фараоново сердце временами слабело, временами же стучалось в грудь слишком часто, спирая дыхание; в выделениях бога появились вещества, которые должны были бы задерживаться в его теле, но в нем не удерживались, так как оно содействовало своему разрушению; а еще позднее, помимо щеки, раздалась и разбухли живот и ноги. Тогда дальний собрат и корреспондент бога, тоже считавшийся божеством в своей сфере, митаннийский царь Тушратта, сын Шутарны, отца Мутемвейе, которую Аменхотеп называл своей матерью, – короче говоря, его евфратский шурин (ибо дочь Шутарны

царевну Гилухипу фараон ввел в свой гарем в качестве побочной жены) из своей далекой столицы прислал ему чудодейственное изображение Иштар; услышав о невзгодах фараонова тела, он прислал это изваяние в Фивы с надежной охраной, так как ему, Тушратте, оно всегда являло, в более, правда, легких случаях, свою целебную силу. Вся столица, нет, весь Верхний и Нижний Египет, от негритянских границ и до моря, говорил о прибытии этого посольства во дворец Меримат, и в Потифаровом доме тоже только об этом и шли разговоры целыми днями.

Известно, однако, что владычица дороги Иштар не смогла или не пожелала ослабить одышку и отеки фараона надолго – к удовлетворению, кстати сказать, местных волшебников, чьи зелья тоже не оказывали больному никакой существенной помощи просто потому, что его склонность к воссоединению с Солнцем была сильнее всего на свете и медленно, но верно делала свое дело.

Иосиф видел фараона во время хебседа, когда вся Узет была на ногах и глядела на выезд бога – одну из тех торжественных процедур, что заполняли этот радостный день. Большая часть этих процедур, всякие облачения, восхождения на престол, очистительные омовения жрецов в масках богов, окуривания и прочие архисимволические манипуляции, совершались внутри дворца, в присутствии только самых знатных людей двора и страны, а народ в это время пил и плясал на улицах, отдавшись представлению, что время отныне коренным образом обновится и начнется эра благоденствия, справедливости, мира, смеха и всеобщего братства. Уже тридцать лет назад радостная эта уверенность была восторженно связана с подлинным днем смены царя; с тех пор каждую годовщину она оживала вновь, хотя, правда, в несколько более слабой и поверхностной форме. Но в хебсед она воскресала в сердцах во всей своей свежести и праздничности как торжество веры над опытом, как культ убежденности, которой не вырвет из души человека никакой опыт, потому что она вложена в его душу свыше... Зато выезд фараона, когда он в полдень направлялся к дому Амуна, чтобы принести жертву, был зрелищем публичным, и толпы народа, в том числе Иосиф, ждали царя на западе, у самых ворот дворца, а другие толпы обступали дорогу, по которой он должен был проследовать через правобережную часть города – в особенности проспект Овнов, главную улицу Амуна.

Царский дворец, Великий Дом, у которого фараон и заимствовал свое наименование, ибо слово «фараон» означало не что иное, как «Великий Дом», хотя в устах детей Египта оно звучало несколько иначе, отличаясь от слова «фараон» так же, как имя «Петепра» от имени «Потифар», – итак, царский дворец находился у края пустыни, у подножья пестроблестящих фиванских скал, посреди просторного круга обводной стены с охраняемыми воротами, которая охватывала также прекрасные сады бога и сверкавшее среди цветов и чужеземных деревьев озеро, возникшее по манию фараона и главным образом на радость Тейе, Великой Супруги, в восточной части садов.

Сколько ни вытягивал шею толпившийся у дворца люд, из ослепительного великолепия Меримата он мало что видел; он видел у ворот стражей с кожаными клиньями над набедренниками и с перьями на шлемах, видел, как блестит на непрестанном ветру освещенная солнцем листва, видел затейливые крыши над пестрыми балясинами, видел, как на золотых шестах развеваются длинные разноцветные флаги, и вдыхал сирийские ароматы, поднимавшиеся от невидимых садовых гряд и как нельзя более согласные с идеей божественности фараона, так как сладостное благоухание обычно сопутствует божеству. А потом оправдывалось ожидание всех этих балагуров, зубоскалов и зевак перед воротами, и когда струг Ра достигал самой высокой своей точки, раздавался клич, часовые у ворот поднимали копыя, и между шестами с флагами распахивались бронзовые створки, открывая вид на посыпанную синеватым песком дорогу сфинксов, которая шла через сад и по которой торжественный поезд фараона мчался через главные ворота в пятящуюся, расступающуюся, кричащую от радости и от страха толпу. Ибо предварительно в нее врывались скороходы с дубинками и расчищали путь колесницам и коням, пронзительно крича: «Фараон! Фараон! Трещи! Головы долой! Посторонись! С

дороги, с дороги, с дороги!» И народ, пьяный от радости, расступался, подпрыгивал на одной ноге, отчего по толпе ходили волны, как по морю в бурю, протягивал худые руки к солнцу Египта, восторженно посылал воздушные поцелуи; а женщины вздымали в воздух барахтающихся и хнычущих ребятишек или, запрокинув головы, жертвенно поднимали обеими руками груди, оглашая окрестность ликующими и страстными криками: «Фараон! Фараон! Могучий бык своей матери! Крылатый духом! Живи миллионы лет! Живи вечно! Люби нас! Благослови нас! Мы неистово любим и благословляем тебя! Золотой сокол! Гор! Гор! Ты всеми своими членами Ра! Хебре в истинном его облике! Хебсед! Хебсед! Поворот времени! Конец горестям! Восход счастья!»

Такое ликованье народа – зрелище очень волнующее, оно захватывает даже человека постороннего, внутренне отрешенного. Иосиф тоже немного покричал и попрыгал с детьми Египта, но главным образом он глядел, глядел в немом волнении. А глядел он так внимательно и волновался он так потому, что увидел самого высокого, фараона, который выходил из своего дворца, как луна среди звезд, и потому что, согласно древнему, приобретенному у него, Иосифа, несколько земной и мирской характер завету, он всегда устремлялся сердцем к самому высшему, чему единственно и должен служить человек. Еще далеко ему было до того, чтобы предстать перед самым высоким в ближайшем своем окружении, Потифаром, а его помыслы, как мы не преминули заметить, были уже направлены на еще более, так сказать, окончательные и безусловные воплощения этой идеи. Теперь мы увидим, что в своем стремлении забежать вперед он и на этом не останавливался.

Вид фараона был чудом. Его колесница, сплошь из чистого золота – с золотыми колесами, золотыми стенками и золотым дышлом, – была покрыта чеканными изображениями, разглядеть которые, однако, не удавалось, ибо на ярком полуденном солнце она сверкала так ослепительно, что глазам становилось невмозможным; а так как колеса ее и копыта коней взметали густые клубы пыли, то казалось, будто фараон мчится в дыму и пламени, и зрелище это было и страшным, и величественным. Казалось, что и кони, запряженные в колесницу, «большая первая упряжка» фараона, как говорили египтяне, вот-вот выдохнут пламя ноздрями – в таком диком плясе неслись эти налитые мышцами жеребцы в нарядной своей сбруе, с золотыми яремыми нагрудниками, золотыми же львиными головами и качающимися перьями султанов на темени. Фараон правил сам; он стоял один в огненной колеснице и сжимал поводья левой рукой, а правой, торчком, на какой-то священный лад, косо держал перед грудью, у самого низа сверкающего золотом воротника, бич и изогнутый, черно-белый жезл. Фараон был уже довольно дряхл, это было видно по его ввалившемуся рту, по его усталому взгляду, по спине, которая явно горбилась под белой, как лотос, верхней одеждой. Скулы отчетливо выступали на его худощавом лице, и казалось, что он поддурмянил щеки. Сколько всяческих амулетов висело у него на боку под платьем – и завязок, разнообразно скрепленных и сплетенных, и талисманов в виде твердых предметов! Голову его, до самого затылка, покрывала голубая тиара, усеянная желтыми звездами. А в лобной ее части, над носом фараона, мерцая разноцветной финифтью, дыбилась ядовитая змея кобра, волшебное отворотное средство Ра.

Так, не глядя ни вправо, ни влево, проехал царь Верхнего и Нижнего Египта мимо Иосифа. Высокие опахала из страусовых перьев качались над ним, воины-телохранители, щитоносцы и лучники, египтяне, азиаты и негры бежали со знаменами рядом с его колесами, а офицеры следовали за ним в повозках, кузова которых были обтянуты пурпурной кожей. А потом весь народ снова молитвенно загомонил, ибо за этими повозками показалась еще одна, особая, с золотыми, сверкавшими в пыли колесами, и в ней стоял мальчик, лет восьми или девяти, тоже под страусовыми опахалами, и сам держал вожжи и бич слабыми, в браслетах руками. Лицо у него было продолговатое, бледное, с полными, малиново-красными, что особенно подчеркивало эту бледность, губами, печально и приветливо улыбающимися кричавшей толпе, и полуоткрытыми глазами, подернутыми поволокой не то гордости, не то грусти. Это

был Аменхотеп, божественное семя, наследный принц, преемник престола и венцов, когда его предшественник соблаговолил воссоединиться с Солнцем, единственный сын фараона, дитя его старости, его Иосиф. По-детски худое туловище этого возникшего было обнажено, если не считать запястий на руках и тускло поблескивавшего финифтяными цветами воротника на шее. Но его плоеный золототканый набедренник захватывал большую часть спины и доходил до икр, хотя спереди, где сверху висел клапан с золотой бахромой, глубокий дугообразный вырез ниже пупка открывал вздутый, как у негретенка, живот. Золототканая повязка, гладко прилежавшая ко лбу, где у мальчика, как и у отца, торчала змея, окутывала его голову, образуя на затылке кошель для волос, а над одним ухом, в виде широкой бахромчатой ленты, у него свисала детская прядь царских сыновей.

Во всю мощь своих глоток приветствовал народ это уже рожденное, но еще не восшедшее Солнце, это солнце, скрытое горизонтом востока, солнце завтрашнее. «Мир Амуна! – кричали люди. – Многая лета сыну бога! Как ты прекрасен на светозарном небе! О, мальчик Гор с детской прядью! О, волшебный сокол! Защитник отца, защити нас!» Им еще долго нужно было кричать и молиться, ибо вслед за окольными, поспешавшими за солнцем грядущего дня, опять показалась огнеблещущая колесница с высоким навесом, где позади согнувшегося над перилами возницы стояла Тейе, жена бога, Великая Супруга Фараона, владычица стран. Она была мала ростом и смугла лицом; ее подведенные в длину глаза блестели, ее изящно-крепкий божественный носик отличался решительностью изгиба, а ее толстогубый рот улыбался сытой улыбкой. На земле не было ничего, что могло бы сравниться по красоте с ее головным убором, представлявшим собой диадему в виде грифа, целой золотой птицы, чье туловище с вытянутой вперед головой прикрывало темя Тейе, а чудесной выделки крылья спускались к ее щекам и плечам. А к спине птицы был еще прикован обруч, откуда поднималось несколько высоких и жестких перьев, превращавших эту диадему в венец божества; на лбу же царицы, кроме голого, хищного, с крючковатым клювом черепа грифа, торчала и очковая, налившаяся ядом змея. Знаков высшей власти и божественного отличия на жене фараона было более чем достаточно, их было слишком много, чтобы народ не пришел в восторг и не начал самозабвенно кричать: «Исет! Исет! Мут, небесная мать-корова! Богоносное чрево! О ты, что наполняешь дворец любовью, сладостная Хатхор, помилуй нас!» Во весь голос приветствовал он и царских дочерей, которые, обнявшись, стояли в повозке позади скрючившегося в три погибели и в такой позе правившего конями возницы, а также придворных дам, каковые затем проезжали парами с почетным опахалом в руке, равно как и Вельмож Близости и Доверительности, истинных и единственных друзей фараона, посетителей Утреннего Покоя, ехавших следом.

Так, сквозь толпы, двигался этот праздничный поезд по суше к реке, где стояли наготове пестрые струги, и среди них небесный струг фараона «Звезда обеих стран», чтобы бог, родительница, семя и весь двор переправились на восточный берег и там, уже на других упряжках, проехали через город живых, где на улицах и на крышах тоже кричал и неистовствовал народ, – к дому Амуна, на великое воскурение.

Так вот и увидел Иосиф «фараона», как однажды, будучи предметом продажи, впервые увидел во дворе благословенного дома «Потифара», самое высокое лицо ближайшего своего окружения; тогда он подумал, что должен будет во что бы то ни стало оказаться с ним рядом. Теперь, благодаря умной словоохотливости, он был рядом с ним; но наша история утверждала, что уже тогда он втайне задался целью вступить в связь с более отдаленными и, так сказать, окончательными проявлениями высочайшего, а затем она приписала его воле стремления, идущие даже еще дальше. Как же понимать это последнее? Разве может быть что-либо еще выше, чем высочайшее? Конечно, может быть, если только в крови у тебя есть вкус к будущему: еще выше высочайшее завтрашнего дня. Среди ликованья толпы, в котором он участвовал с известной сдержанностью, Иосиф достаточно тщательно разглядел фараона. И все же самое глубокое, самое участливое его любопытство относилось не к старому богу, а к тому, кто дол-

жен был прийти ему на смену, к мальчику с длинной прядью и болезненно улыбающимися губами, к Иосифу фараона, к наследному Солнцу. Его провожал он взглядом, его узкую спину и его золотой кошель для волос, его слабые, в браслетах руки, управлявшие лошадьми; его, а не фараона провожал он взглядом души и тогда, когда все уже миновало и толпа хлынула к Нилу; малым, грядущим Солнцем были заняты мысли Иосифа, и это, вероятно, объединяло его с детьми Египта, которые тоже при виде юного Гора кричали и молились еще усерднее, чем когда мимо них проезжал сам фараон. Ибо будущее – это надежда, и человеку из милости отпущено время, чтобы он жил ожиданием. А разве Иосифу не нужно было еще расти и расти на своем месте, чтобы у него появилась хотя бы самая ничтожная, самая общая возможность только предстать перед самым высоким, а не то что стать рядом с ним? Поэтому вполне закономерно, что на празднике хебседа его взгляд устремлялся за нынешний предел высоты в будущее, к еще не восшедшему солнцу.

Отчет о скромной смерти Монт-кау

Семь раз провел Иосифа по своему кругу египетский год, восемьдесят четыре раза прошло любимое им и родственное ему светило через все свои состояния, и от той материи сына Иакова, в которой его, тревожась и благословляя, отпустил от себя отец, действительно ничего уже не осталось в ходе непрерывного обновления; он носил, так сказать, совсем новую одежду, в которую бог облек теперь его жизнь и в которой не было уже ни одного волоконца от прежней, принадлежавшей семнадцатилетнему юноше: в этой, сотканной из египетских прибавлений одежде Иаков с трудом узнал бы его, – сыну уже пришлось бы заверить отца: это я, Иосиф. Семь лет прошли у него во сне и в бдении, в раздумьях, в ощущениях, в делах и событиях, как проходят дни, то есть ни быстро, ни медленно, а просто прошли – и все тут, и вот ему было уже от роду двадцать четыре года, и он был прекрасен лицом и станом, этот полуюноша-полумужчина, сын миловидной, дитя любви. Уверенней и решительней были теперь его деловая повадка и полновочувственнее некогда ломкий голос, когда он, обходя как надсмотрщик работников и челядинцев дома, распоряжался по-своему или же передавал распоряжения Монт-кау по праву его заместителя и главных уст. Ибо таковым он давно уже был, и с не меньшим правом его можно было назвать также глазом, ухом или правой рукой управляющего. Домочадцы, однако, именovali его просто «уста», ибо так вообще принято было в Египте называть уполномоченных, передающих приказы хозяина, а в данном случае это прозвище напрашивалось на язык еще и благодаря двойному смыслу, который оно приобретало применительно к Иосифу; ведь этот юноша говорил, как бог, и дети Египта, высоко ценившие красноречие и даже считавшие его величайшим наслаждением, отлично понимали, что именно красивыми и умными речами, до каких они сами никогда не додумались бы, он сделал или, во всяком случае, подготовил свою карьеру у господина и у Монт-кау.

Монт-кау доверял ему уже решительно все: и управление хозяйством, и расчеты, и надзор, и торговые сделки, и если в предании говорится, что Потифар отдал весь свой дом на руки Иосифа и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел, то сказано это в широком, переносном смысле: строго говоря, хозяин возложил все на своего управляющего, а уж тот – на новокупленного раба, с которым заключил договор об угождении хозяину; кстати сказать, хозяин и дом могли быть довольны, что такое перепоручение кончалось на Иосифе и что в конце концов вел хозяйство действительно он, а не кто другой, ибо, радея о господе и о его далеко идущих замыслах, он вел хозяйство с умелой преданностью и пекся о выгодах дома и днем и ночью, а потому, в полном согласии с выражением старого измаильянина и со своим собственным именем, не только снабжал дом, но и умножал его.

Почему к концу этого семилетнего отрезка времени Монт-кау все больше и больше перекладывал на плечи Иосифа надзор за домом, а потом и вовсе ушел от всех дел в Особый

Покой Доверия – об этом пойдет речь чуть ниже. А прежде нужно заметить, что зловредному Дуду, сколько он ни старался, никак не удавалось преградить Иосифу путь, которым тот столь счастливо следовал, еще до истечения этих семи лет оставив далеко позади не только всех прочих слуг, но и малорослого Потифарова гардеробщика с его чином и положением в доме. Должность Дуду, доставшаяся этому человечку, несомненно, за его достойную солидность и карличью полноценность, была, конечно, весьма почетна и, предполагая личную близость к господину, по самой природе своей должна была способствовать опасным для Иосифа нашептываниям. Но Потифар терпеть не мог этого женатого карлика; степенность и важность Дуду были ему глубоко противны, и, не считая себя вправе лишить его должности, он всячески старался быть от него подальше, для чего и в одежной, и в Утреннем Покое ставил посредников между собою и карликом, которому предоставил только заведовать украшениями, нарядами, амулетами и почетными знаками, допуская его к себе не чаще и не на больший срок, чем то было совершенно необходимо, так что Дуду не мог ему толком и слова сказать, не то что произнести обвинительное слово против этого чужеземца и его досадного возвышения в доме.

Но даже и представься удобный случай, карлик все равно не отважился бы завести такой разговор – с самим повелителем. Отлично зная, как он противен хозяину – и тайной своей заносчивостью, которой он никак не мог, да и не хотел отрицать перед самим собой, и тем, что он сторонник солнечного главенства Амуна, – Дуду опасался, что его слова не возымеют действия на Петепра. Нужно ли было ему, супругу Цесет, убедиться в этом на опыте? Нет, он предпочитал идти косвенными путями: через госпожу, которая, по крайней мере, внимательно выслушивала его частые жалобы; через Бекнехонса, этого сильного Амунова стража, которого он, когда тот посещал госпожу, мог настропалить против враждебного старинным обычаям покровительства чужеземцу-хабиру; да и Цесет, полномерную свою супругу, которая несла службу у Мут-эм-энет, он заставлял влиять на нее в духе своей ненависти.

Но и усердный подчас не достигает успеха – представьте себе, что Цесет не принесла бы супругу плодов их брака, и вы получите наглядный тому пример. Вот так же и в данном случае были безуспешны старанья Дуду; они не приносили ему плодов. Известно, правда, доподлинно, что однажды во дворце, в палате перед покоем фараона, первосвященник Амуна Бекнехонс дипломатически пожурил Петепра за огорчительное для набожных его, Петепра, домочадцев возвышение некоего нечистого чужеземца, сделав ему отечески-вежливое замечание на этот счет. Однако носитель опахала не понял, о ком идет речь, стал напрягать свою память, заморгал глазами, обнаружил свою рассеянность, а задерживаться на частностях, на мелочах, на делах домашних больше, чем на мгновение, Бекнехонс, как человек большого полета, совершенно не был способен: он тотчас же перешел к высоким материям, стал указывать на все четыре стороны света, заговорил о делах государственных, о сохранении власти, не преминув упомянуть иноземных царей Тушратту, Шуббилулиму и Абдаширту, и разговор растекся по общим местам... Что же касается Мут, госпожи, то она даже и заставить себя не могла заговорить об этом с супругом, так как знала его глухое упрямство, да и не привыкла обсуждать с ним какие-либо дела и, обмениваясь с ним лишь сверхпредупредительными нежностями, воздерживалась от предъявления ему каких-либо требований. Этими причинами объяснялось ее молчаливое невмешательство. Для нас, однако, оно является одновременно указанием, что в то время, то есть на исходе этих семи лет, присутствие Иосифа оставляло ее равнодушной и ей еще не было важно прогнать его из дому и со двора. Желание, чтобы он был удален и скрылся прочь с ее глаз, пришло к жене египтянина позднее, пришло одновременно со страхом перед самой собой, которого сейчас ее гордость еще не знала. И еще об одном поразительном «одновременно» приходится тут сказать: одновременно с тем, как госпожа поняла, что ей лучше не видеть больше Иосифа, и действительно попросила Петепра его удалить, – Дуду, казалось, переменил свое отношение к молодому хабиру и стал его сторонником; он начал так усиленно подлизываться к нему и прислуживаться, что карлик и госпожа словно бы поменялись ролями

– и теперь она переняла его ненависть, а он на все лады расхваливал ей этого юношу. И то и другое было, однако, притворством. Ибо в тот миг, когда госпожа выразила желание, чтобы Иосифа удалили, она на самом деле уже не могла этого желать и обманывала самое себя, притворяясь, что хочет этого. А Дуду, который, конечно, обо всем догадывался, просто хитрил и надеялся лишь, что, прикинувшись его товарищем, он успешней напакостит сыну Иакова.

К этому мы скоро, немного ниже, вернемся. Событием же, которое уготовило или, во всяком случае, имело своим последствием эти перемены, была злосчастная болезнь управляющего Монт-кау, союзника Иосифа по преданной службе хозяину, – злосчастная для него, злосчастная для Иосифа, привязанного к нему всем сердцем и испытывавшего чуть ли не угрызения совести из-за его болезни, злосчастная для всякого, кто сочувствует этому простому, но прозорливому человеку, даже если сочувствие сочетается тут с пониманием планомерной необходимости его ухода. Ибо в том, что Иосиф оказался в доме, управляющий которого был обречен смерти, нельзя не видеть определенной планомерности, и смерть управляющего была в известной степени жертвенной смертью. Счастье только, что в душе он склонялся к отставке и проявлял ту готовность, которую мы в другом месте пожелали свести к застарелой болезни почек. Вполне, однако, возможно, что его недуг был лишь физическим выражением этой душевной склонности, отличным от нее не больше, чем слово от мысли и письменное начертание от слова, и что, следовательно, в книге жизни Монт-кау почка была иероглифом для обозначения отставки.

Какое нам дело до Монт-кау? Почему мы говорим о нем не без умиления, хотя мало что можем сказать о нем, кроме того, что он был человеком сознательно простым, то есть скромным, и порядочным, то есть одновременно практичным и душевным, что нам за дело до того, кто жил некогда на земле и в стране Кеме, рано ли, поздно ли, но, во всяком случае, в те времена, когда именно его произвела на свет многолюдная жизнь, времена пусть поздние, но все же достаточно ранние, чтобы его мумия давно уже рассыпалась на мельчайшие части и была развеяна по миру всеми ветрами? Он был трезвым сыном земли, который не мнил, что он лучше, чем жизнь, и, в сущности, не желал знать ни о чем высшем и дерзновенном – но не по низости своей, а по скромности, ибо в глубинах души был вовсе не глух к высшим велениям, благодаря чему и сумел сыграть такую немаловажную роль в жизни Иосифа, ведя себя при этом, в сущности, точно так же, как когда-то большой Рувим: ведь образно говоря, Монт-кау тоже отступил с опущенной головой на три шага от Иосифа, а потом от него отвернулся... И уже одна эта порученная ему судьбой роль обязывает нас отнести к нему с известным участием. Но и совершенно независимо от нашей обязанности, чисто по-человечески, нас привлекает эта простая и все же душевно тонкая фигура, в силу некоей сочувственной потребности, которую он бы назвал колдовством, восстанавливаемая нами сейчас из праха тысячелетий.

Монт-кау был сыном средней руки чиновника из казнохранилища храма Монту в Карнаке. Рано, когда ему было всего пять лет, его отец, Ахмос по имени, посвятил его Тоту и отдал его в имевшееся при храме училище, где в великой строгости, на скудном довольствии и щедрых побоях (ибо существовала поговорка, что уши у ученика на спине и что он слушает, когда его бьют) воспитывалось подрастающее поколение чиновников Монту, воинственного бога с головой сокола. Впрочем, это была не единственная задача училища: посещаемое детьми разного происхождения, и знатного и низкого, оно вообще давало основы литературной образованности, обучая божественной речи, то есть письму, искусству тростинки и приятного слога, а это было предпосылкой не только для карьеры чиновника-писца, но и для карьеры ученого.

Что касается сына Ахмоса, то он не хотел стать ученым – не потому, что он был для этого слишком глуп, а из скромности и потому что с самого начала твердо решил довольствоваться умеренно-добропорядочным положением и ни в коем случае не заноситься высоко. И если, в отличие от отца, он не провел всю свою жизнь в канцеляриях Монту, а стал управляющим у вельможи, то даже это произошло почти вопреки его воле; его учителя и началь-

ники рекомендовали его и добыли ему эту прекрасную должность без каких-либо ходатайств с его стороны, из уважения к его способностям и к его сдержанности. Бит он бывал в училище только в пределах неизбежного, причитавшегося и самому лучшему ученику, чтобы он слушался; общую свою смывленность он доказывал быстротой, с которой овладевал великим подарком божественной обезьяны – письмом, умной аккуратностью, с какой он, ведя длинные строки, запечатлевал в своих ученических свитках преподаемое, все эти правила приличия, образцы писем, древние наставления, назидательные стихи, увещательные речи и похвалы писцам, а на обороте тем временем подсчитывал заприходованные мешки зерна и делал наброски деловых писем, ибо чуть ли не с самого начала участвовал в практической деятельности управления храмом, – участвовал скорее по собственной воле, чем по воле отца, который был бы рад, если бы его сын достиг большего, чем он сам, и стал каким-нибудь прорицателем бога, волшебником или, например, звездочетом, тогда как Монт-кау сызмала решительно и скромно готовил себя к деловой жизни.

Есть что-то своеобразное в таком врожденном смирении, проявляющемся в добросовестном усердии, в спокойной терпимости ко всяким невгодам жизни, из-за которых другой возроптал бы и вознегодовал на богов. Монт-кау сравнительно рано женился на дочери одного отцовского сослуживца, горячо ее полюбив. Но его жена умерла во время первых родов, а с ней и ребенок. Монт-кау горько ее оплакивал, однако он не был особенно поражен подобным ударом и не очень донимал богов жалобами на такую судьбу. Он не делал попыток устроить заново свое семейное счастье, а остался вдовцом, и вдовцом одиноким. Сестра его была замужем за одним фиванским лавочником; Монт-кау иногда навещал ее на досуге, до которого он вообще-то не был охотником. Закончив ученье, он сначала работал в канцелярии храма Монту, потом стал управляющим в доме первого пророка этого бога и, наконец, оказался во главе прекрасного дома царедворца Петепра, где уже десять лет добродушно, но твердо исполнял свои обязанности, когда измаильтяне доставили ему более способного, чем он, помощника в преданном служении нежному господину и одновременно его преемника.

Что Иосифу суждено быть его преемником, он почувствовал рано, ибо при всей своей умышленной простоте был человеком пронизательным, и можно сказать, что эта простота, эта склонность к самоограничению и к самоотстранению была даже следствием его пронизательности, – пронизательности болезни, дремавшей в его крепком теле, болезни, без влияния которой – ибо, подтачивая силы, она утончала душу, – он вряд ли бы оказался способен составить себе те деликатные впечатления, которые у него создались при первом взгляде на Иосифа. В то время он уже знал свое слабое место, так как знахарь Краснопузый, на основании глухой боли, нередко испытываемой Монт-кау в спине и в левом бедре, а также блуждающих болей в области сердца, частых приступов тошноты, замедленного пищеварения, плохого сна и чрезмерного давления мочи, сказал ему напрямик, что у него червоточина в почке.

Эта болезнь по природе своей часто бывает скрытой и медленной, она иногда пускает корни в самом раннем возрасте и оставляет промежутки кажущегося здоровья, делая вид, что она затихла или даже совсем прекратилась, чтобы затем снова явить признаки своего продвижения. На двенадцатом году жизни у Монт-кау, как ему помнилось, была уже однажды кровь в моче, но только однажды, а потом ее много лет не было, так что этот пугающий и показательный случай постепенно забылся. Лишь когда ему исполнилось двадцать лет, она появилась снова – одновременно с вышеописанными недугами, причем тошнота и головная боль вызвали желчную рвоту. Это тоже прошло; но с тех пор он, человек спокойный и дельный, должен был жить в постоянной борьбе с то отступающей и на целые месяцы, а то и годы отпускающей его, то вновь с большей или меньшей силой овладевающей им болезнью. Скромность, ею вызванная, вырождалась подчас в глубокую вялость, тоску и подавленность, подавленность физическую и душевную, вопреки которой Монт-кау с тихим геройством выполнял свой каждодневный урок и которую люди, сведущие или выставившие себя сведущими во врачебном искусстве,

преодолевали кровопусканиями. И так как аппетит у него был удовлетворительный, язык – чистый, испарение кожи не нарушалось, а частота пульса была достаточно равномерна, то эти лекари не сочли его опасно больным и тогда, когда однажды у него на щиколотках появились бледные пузыри, откуда, когда их прокололи, вышла водянистая жидкость. Более того, так как выделение жидкости явно разгружало сосуды и взбадривало сердце, врачи сочли это явление даже благотворным, означающим, что болезнь выходит наружу и утекает.

Нужно сказать, что с помощью Краснопузого и его садовых лекарств он довольно сносно прожил десятилетие, предшествовавшее появлению Иосифа, хотя своей редко утрачиваемой работоспособностью был скорее обязан скромной силе собственной воли, чем народной мудрости Краснопузого. Первый по-настоящему тяжелый приступ – с такими отеками рук и ног, что ему пришлось их перевязать, с неистовой головной болью, бурными возмущениями желудка и даже помутнением глаз – случился у него почти сразу же после того, как прибыл Иосиф, и, пожалуй, даже во время переговоров со стариком-измаильтянином и осмотра товара это обострение уже начиналось. Так мы, по крайней мере, полагаем; ибо нам кажется, что тонкие предчувствия, возникшие у Монт-кау при виде Иосифа, и та особая растроганность, в которую привело его пробное пожелание спокойной ночи, были уже вестниками припадков и признаками болезненно повышенной чувствительности. Но возможно и другое врачебное толкование, а именно – что, наоборот, эти слишком ласковые прощальные слова вызвали известное ослабление его природы и ее сопротивляемости неизменно осаждающему ее недугу, – и мы действительно склонны опасаться, что ежевечерние пожелания Иосифа, как ни были они приятны управляющему, отнюдь не шли на пользу его жизнеутверждающей воле, которая бессознательно боролась с болезнью.

И то, что Монт-кау поначалу совсем не заботился об Иосифе, тоже объясняется главным образом тогдашним приступом, сковавшим его. Как и многие позднейшие, более слабые или столь же сильные вспышки, этот приступ миновал благодаря Хун-Ануповым кровопусканиям, пиявкам, фантастическим зельям растительного и животного происхождения, а также примочкам из листов исписанного папируса, которыми садовник обвязывал бедра больного, предварительно размягчив папирус в горячем масле. Здоровье или видимость здоровья опять воцарялась на долгие отрезки дальнейшей жизни Монт-кау, когда Иосиф уже был в доме и вырастал в первого помощника и в главные уста управляющего. Но на седьмом году пребывания Иосифа в доме, на похоронах одного своего родственника, точнее сказать – своего зятя, лавочника, приказавшего долго жить, Монт-кау простудился, что сразу свалило его и распахнуло ворота беде.

Это заражение смертью, этот, так сказать, уход вслед за тем, кому отдают последние почести в открытом для сквозняков кладбищенском здании, было очень распространенным явлением во все времена, и тогда не менее, чем сегодня. Стояло лето, и было очень жарко, но, как это часто бывает в Египте, довольно ветрено, а это опасное сочетание, так как ветер, непрерывно обвеивая вспотевшую кожу, резко ее охлаждает. Перегруженный делами, управляющий замешкался в доме, и когда спохватился, рисковал уже опоздать на торжественную церемонию. Он стал спешить, вспотел и уже во время переправы через реку на запад в эскорте похоронного струга, будучи недостаточно тепло одет, сильно мерз. Не на пользу пошло ему затем и пребывание у маленького, купленного в рассрочку лавочником, ныне Усиром, sklepa в скале, перед скромным порталом которого один жрец – на нем была собачья маска Анупа – поддерживал мумию, чтобы она стояла, тогда как другой, действуя мистическим «копытцем», производил обряд отверзания уст, а толпа скорбящих, положив руки на посыпанные пеплом головы, наблюдала за этим волшебным актом, – не на пользу из-за холода, которым тянуло от камня и от входа в пещеру. Монт-кау вернулся домой с насморком и с воспалением мочевого пузыря; уже на следующий день он пожаловался Иосифу, что ему как-то странно трудно шевелить руками и ногами; полуобморочное состояние вынудило его отступить от домашних дел и улечься

в постель, и когда садовник, чтобы унять невыносимую, сопровождавшуюся рвотой и наполовину ослепившую Монт-кау головную боль, поставил ему на висок пиявки, с управляющим случился апоплексический удар.

Иосиф страшно испугался, поняв намерения бога. Принять против них человеческие меры не значило, так решил он про себя, пытаться греховно перечеркнуть провидящую волю, а значило лишь подвергнуть ее необходимому испытанию. Поэтому он тотчас же попросил Потифара послать в дом Амуна за ученым врачом, перед которым Краснопузый должен был отступить, – хоть и с обидой, но все-таки с чувством освобождения от ответственности, ибо у него хватало знаний, чтобы понять ее тяжесть.

Ученый из книгохранилища, действительно, отверг большинство назначений садовника, хотя различие между его предписаниями и предписаниями Краснопузого носило, по общему, да и по его собственному мнению, не столько медицинский, сколько общественный характер: эти были для простонародья, которому они вполне могли принести пользу, а те для высших слоев, требовавших более изысканного лечения. Так, например, мудрец из храма отменил размягченные в масле исписанные листы папируса, которыми его предшественник покрыл живот и бедра больного, и предписал компрессы из льняного семени на хороших полотенцах. Он высказал также полное презрение к популярным всеисцеляющим средствам Краснопузого, изобретенным якобы богами для самого Ра, когда тот стал хворать на старости лет, и состоявшим из всяких гадостей, числом от четырнадцати до тридцати семи, таких, как кровь ящерицы, толченые зубы свиньи, жидкость из ушей этого животного, молоко роженицы, всевозможный кал, в том числе антилоп, ежей и мух, человеческая моча и так далее, а кроме того, содержащим снадобья, рекомендованные управляющему, но только без гадостей, и самим ученым врачом, а именно – мед и воск, затем белену, небольшие дозы макового сока, горечавку, толкнянку, соду и рвотный корень. Разжевыванье семян клещевины с пивом, процедура, на которой особенно настаивал садовник, было также одобрено ученым врачом, равно как и применение сильного слабительного средства – некоего смолистого корня. Зато сильнодействующие кровопусканья, которые чуть ли не ежедневно практиковал Краснопузый, ибо мучительный стук в голове и помутнение глаз удавалось ослабить только с их помощью, ученый объявил ошибочными и велел применять их лишь с осторожностью: при такой бледности больного, учил он, потеря питательных и будящих жизнь частиц крови – слишком дорогая плата за временное облегчение.

Это была, видимо, неразрешимая дилемма, ибо именно обедневшая полезными и насыщенная вместо них вредными веществами, но, с другой стороны, все-таки необходимая кровь, вызывая ползучие воспаления, затопляла тело сменяющимися друг друга и одновременными болезнями, которые в ней-то явно и коренились, будучи, как знали оба врача, лишь косвенно связаны с почкой, давно уже работавшей плохо. Поэтому, независимо от того, как называли и как толковали эти неприятные явления врачи, Монт-кау попеременно и одновременно страдал воспалением грудной плевры, брюшины, сердечной сумки и легких; ко всему этому прибавились бедственные мозговые симптомы: рвота, слепота, приливы крови, судороги. Короче говоря, смерть наступала на него со всех сторон и во всеоружии, и было просто чудом, что после того как он слег, он еще несколько недель оказывал ей сопротивление и некоторые из одолевавших его болезней все-таки победил. Он был сильный больной; но как ни стойко он держался, как ни защищал свою жизнь – он все равно должен был умереть.

Иосиф понял это рано, когда Хун-Анун и ученый Амуна еще надеялись помочь управляющему, и очень убивался – не только из-за своей привязанности к этому славному человеку, который делал ему добро и чья судьба была ему по сердцу, так как это была тоже судьба «человека горя и радости», судьба Гильгамеша, и взысканного милостями, и побитого, – но также и прежде всего потому, что он, Иосиф, испытывал угрызения совести при виде его страданий и смерти; ибо они были явно подстроены для его, Иосифа, возвышения, и Монт-кау

был жертвой замыслов бога: его убрали с дороги, это было совершенно ясно, и Иосифу так и хотелось сказать владыке замыслов: «То, что ты сейчас творишь, господи, – это только твоя воля, а не моя. Я решительно заявляю: я к этому непричастен, и то, что это делается для меня, пусть не значит, что я в этом виноват, – вот о чем я смиренно молюсь!» Но это не помогало, он все равно испытывал угрызения совести из-за жертвенной смерти своего друга и понимал, что если тут вообще может быть речь о вине, то, значит, виноват он, получающий выгоду, ибо бог не знает вины. То-то и оно, думал про себя Иосиф, что все делает бог, а испытывать из-за этого угрызения совести дано нам, и мы оказываемся перед ним виноваты, потому что берем на себя вину ради него. Человек берет на себя вину бога, и было бы только справедливо, если бы бог однажды решился взять на себя нашу вину. Как он, священно чуждый вины, сделает это, неясно. По-моему, ему пришлось бы стать просто-напросто человеком для этого.

Он не отходил от страдальческого одра жертвы в течение тех четырех или пяти недель, которые она еще сопротивлялась отовсюду наступавшей на нее смерти, – так мучила его совесть из-за этих страданий. И днем и ночью ухаживал он за больным, ухаживал самоотверженно, жертвуя собой, как принято говорить и как в данном случае было бы совершенно справедливо сказать, ибо дело действительно шло об ответной жертве, и, принося ее, Иосиф отказывался от сна и недоедал. Он устроил себе постель возле больного, в Особом Покое Доверия, и ежечасно помогал умирающему, чем мог: согревал компрессы, подносил ему лекарство, втирал в кожу мази, заставлял его, по назначению врача из храма, вдыхать пар от растертых растений, которые разогревал на камнях, держал его конечности, когда у него начинались судороги; от них в последние дни несчастный страдал чрезвычайно сильно, он иногда даже вскрикивал под этим грубым натиском смерти, которая, казалось, дожидаться не могла, чтобы он сдался, и безжалостно теребила его. Особенно наседала она, когда Монт-кау засыпал; она судорогами вздымала с постели усталое тело, как будто говорила: «Ах, вот как, ты хочешь спать? Поднимись же, поднимись и умри!» Сейчас более, чем когда-либо, были уместны успокоительные пожелания спокойной ночи; Иосиф вкладывал в них все свое искусство и ласковым, заклинающим шепотом внушал больному, что теперь он, конечно же, отыщет стезю, ведущую в край утешения, и беспрепятственно последует по этой стезе, а его левая рука и нога, заботливо закрепленные холщовыми бинтами, не вернут его отчаянной болью обратно, в томительный день его муки.

Это оказывало свое действие и помогало в известных пределах. Но Иосиф и сам испугался, когда заметил, что его снотворные речи помогают слишком уж хорошо и управляющий, столько лет страдавший бессонницей, начинает, наоборот, склоняться к сонливости и готов целиком уйти в ядовитое свое забытие, отчего благая стезя становилась роковой и возникала опасность, что путник забудет о возвращении. Поэтому Иосиф пошел по другому пути и, вместо того чтобы сочинять колыбельные песни, пытался задержать друга на этом свете, подкрепляя его силы всякими историями и притчами, точнее сказать, историями и притчами из того обширно-древнего запаса сказок и анекдотов, которым он, Иосиф, благодаря наставлениям Иакова и Елиезера, с детства располагал. Управляющий всегда любил слушать о первой жизни своего помощника, о его детстве в стране Канаан, его миловидной матери, что умерла у дороги, о великой и самоупоенной нежности, с которой отец относился сначала к ней, а потом к сыну, так что мать и сын были одним и тем же в праздничном наряде этой любви. Слышал он уже и о дикой зависти братьев, и о вине, заключавшейся в преступном доверии и слепой требовательности, вине, которую Иосиф по-ребячески взвалил на себя, и о том, как он был растерзан, и о колодце. Вообще-то управляющему, как Потифару, да и как всякому другому здесь, в доме, прошлое Иосифа и страна его юности виделись как нечто очень далекое, пыльное и убогое, от чего человек, естественно, быстро отрывается, коль скоро судьба переносит его к людям, в страну богов; поэтому, как и другие, Монт-кау несколько не удивлялся тому, что египетский Иосиф не делал никаких попыток восстановить связь с варварским миром своего детства, и несколько не осуждал за это Иосифа. Но истории этого мира Монт-кау всегда любил

слушать, а во время последней его болезни самым приятным и самым успокоительным развлечением было для него лежать со сложенными руками и слушать изящно-увлекательные и торжественно-веселые рассказы своего молодого опекателя – о косматом и гладком и о том, как они пинали друг друга уже в материнской утробе; о празднике обмана и о бегстве гладкого в преисподнюю; о злом дяде и его детях, которых он поменял местами в ночь свадьбы, и о том, как тонкий хитрец, благодаря своему умному сочувствию природе, умудрился получить причитающееся у хитреца грубого. Сплошные обмены, обмены первородством и благословением, подмена невест и обмен богатств. Замена лежащего на жертвеннике сына животным, а животного похожим на него сыном, когда тот заблел в смертный свой час. Все эти обмены и обманы развлекали, очаровывали и увлекали слушателя; ибо что может быть очаровательнее обмана? К тому же рассказы и рассказчик бросали друг на друга свой свет: от историй, им повествуемых, на него падал очаровательный отсвет обмана, а сам он, в свою очередь, озарял их собой, – ведь это он носил покрывало любви попеременно с матерью и всегда озадачивал Монт-кау какой-то смесью приветливости и лукавства – начиная с того мгновения, когда впервые предстал перед ним со свитком в руках и, улыбаясь, заставил его спутать себя с ибисоголовым богом.

Монт-кау почти лишился зрения и уже не мог сказать, сколько пальцев ему показывают. Но слышать он еще слышал и, слушая странные, чужеземные истории, так умно зазвучавшие у его одра, мог прогнать полуобморочную дремоту, к которой его клонила ядовитая кровь. Он слушал о постоянно наличном Елизере, что вместе со своим господином побил царей Востока и навстречу которому, когда он ехал за невестой для отвергнутой жертвы, скакала земля. О деве, прыгнувшей с верблюда и накинувшей на голову покрывало при виде того, кому ее высватали. О дикарски красивом брате из пустыни, уговаривавшем Рыжеволосого убить и съесть отца. Об урском страннике, всеобщем отце, и о том, что произошло с ним и с его супругой-сестрой здесь, в Египте. О его брате Лоте, об ангелах перед его дверью и о необычайном бесстыдстве содомлян. О серном дожде, соляном столпе и о том, как поступили озабоченные будущим человечества дочери Лота. О синеарском Нимроде и о дерзостной башне. О хитроумном Ное, об этом втором первом и о его ящике. О самом первом, сотворенном из земли в саду Востока, о женщине из его ребра и о змее. Красноречиво и остроумно расточал Иосиф запасы этой наследной сокровищницы у постели больного, чтобы успокоить свою совесть и еще немного задержать умирающего на этом свете. И охваченный эпическим духом, Монт-кау в конце концов заговорил сам; он попросил приподнять подушки и с взволнованным близостью смерти лицом стал рукою ощупывать Иосифа, как будто он был Ицхаком, ощупывавшим в шатре сыновей.

– Дай мне увидеть видящими руками, – начал он, обратив лицо к потолку, – ты ли это, Озарсиф, сын мой, ибо я хочу благословить тебя перед кончиной, как нельзя лучше подкрепившись историями, которыми ты щедро меня попотчевал! Да, это ты, я вижу, я узнаю тебя, как узнают слепые, и тут не может быть ни сомнения, ни обмана, ибо у меня только один сын, и это ты, Озарсиф, и благословить я могу только тебя. Я полюбил тебя с годами вместо того младенца, которого забрала с собой мать в родильных муках, когда он задохнулся, ибо слишком узко была она сложена. У дороги? Нет, она умерла родами дома, у себя в комнате, и я не отважусь назвать ее муки какими-то сверхъестественными. Но все-таки они были настолько ужасны и настолько жестоки, что я пал на лицо и молил богов о ее смерти, каковую боги и даровали. Даровали они мне и смерть мальчика, хотя об этом я их не молил. Но зачем нужно было мне дитя без нее? Ее звали «Масличное Дерево», дочь Кегбоя, чиновника казначейства, Бекет было имя ее, и я не дерзнул возлюбить ее так, как этот благословенный осмелился возлюбить свою милovidную нахаринянку, твою мать, – на это я не решился. Но и она была милovidна, незабываемо милovidна в убранстве шелковистых ресниц. Она опускала их, когда я говорил ей слова сердца, слова любви, слова песен, на которые никогда не чаял отважиться, но которые стали моими словами в ту пору, в ту прекрасную пору. Да, мы любили друг друга,

несмотря на ее узкое сложение, и когда она умерла с ребенком, я плакал о ней много ночей, покуда не высушили моих глаз работа и время – а они высушили их, и я перестал плакать даже ночами, но и мешки под ними, и то, что глаза мои были такие маленькие, – все это, я думаю, пошло от тех долгих ночей. Не то чтобы я был в этом вполне уверен, может быть, это так, а может быть, и не так, и поскольку я умираю и глаза мои, которые плакали о Бекет, исчезнут, миру будет совершенно безразлично, как тут обстояло дело когда-то. Но сердце мое опустело, с тех пор как глаза мои высохли; оно стало таким же маленьким и таким же узким, как и глаза, оно утратило бодрость, потому что любовь его была так неудачна, и казалось, что теперь в нем осталось место только для отречения. Но сердцу нужно еще что-то, кроме отречения, оно хочет жить заботой более нежного свойства, чем прибыль и выгода. Я был управляющим, я был Старшим Рабом Петепра и ни о чем, кроме процветания и благоденствия этого дома, не думал. Ибо тот, кто от всего отрекся, – хороший слуга, и, понимаешь, это стало заботой моего уменьшенного сердца: служить и с нежностью помогать Петепра, моему господину. Ведь кто больше, чем он, и нуждается в преданной службе? Он сам ни за что не берется, ибо он от всего отчужден и не создан для дела. Он так нежен, так отчужден от всего рода человеческого и так горд, этот титулоносец, что поневоле тревожишься о нем и жалеешь его, ибо он добр. Разве он не был здесь, разве не навестил он меня во время моей болезни? Покуда ты был занят делами, он потрудился прийти к моей постели, чтобы по доброте своего сердца справиться обо мне, больном старике, хотя видно было, что и на болезнь он тоже глядит отчужденно и робко, ибо никогда не бывает болен, хотя трудно назвать его здоровым и представить себе, что он умрет. Я не могу представить себе этого, ибо, чтобы заболеть, нужно быть здоровым, а чтобы умереть, нужно жить. Но разве это уменьшает тревогу о нем, разве поэтому не нужно приходить на помощь его нежной чести? Скорее наоборот! Сердце мое прониклось этой тревогой куда больше, чем заботой о выгоде и о прибыли, оно так пеклось об этой преданной службе, что в меру своего разума и своих сил я старался помочь его достоинству и угодить его гордости своими речами. Но ты, Озарсиф, делаешь это несравненно лучше, чем я: боги наделили душу твою тонкостью и высшей привлекательностью, которых так не хватает моей душе – то ли потому, что она для этого слишком тупа и черства, то ли потому, что она просто не посягала, не притязала на высшее. Поэтому ради преданной службы я заключил с тобой союз, которому ты обязан быть верен, когда я умру и меня не будет на свете; и если мне суждено благословить тебя и завещать тебе свою должность управляющего, ты должен поклясться у моего смертного одра, что будешь не только в полную меру своих сил и способностей беречь дом и вести дела господина, но и докажешь свою верность нашему нежному союзу преданным служением душе Петепра, защищая и оправдывая его честь со всей своей ловкостью, – не говорю уж о том, что ты никогда не обидишь эту устрашающе ранимую душу и не посрамишь ее ни словом, ни делом. Можешь ли ты торжественно обещать мне это, Озарсиф, сын мой?

– Обещаю торжественно и охотно, – ответил Иосиф на эту предсмертную речь. – Можешь быть спокоен, отец мой. Клянусь тебе, что согласно нашему договору буду помогать его душе бережной преданностью, даю обет верности его нуждам и обещаю тотчас же вспомнить о тебе, если когда-либо почувствую искушение причинить ему ту особую боль, которой поражает одинокого человека измена, – положишь на меня!

– Это меня очень успокаивает, – сказал Монт-кау, – хотя, с другой стороны, предчувствие смерти сильно меня волнует, чего оно не должно было бы делать, ибо на свете нет ничего обыкновеннее смерти, а тем более моей смерти, смерти простого человека, который всегда решительно избегал высшего; поэтому и смерть моя не высшего рода, и я не хочу поднимать из-за нее шум, как не поднимал шума вокруг своей любви к Масличному Деревцу, чьи муки я даже не осмелился назвать сверхъестественными. Но все же я хочу благословить тебя, Озарсиф, вместо сына, и благословить не без торжественности, ибо торжественность заключена в благословении, а не во мне, и поэтому наклонись, чтобы слепой положил руку на твою голову!

Дом и усадьбу я завещаю тебе, истинному моему сыну и преемнику, новому управляющему господина моего Петепра, великого царедворца. Я уйду в отставку, уступая место тебе, а это веселит и радует мою душу, – о да, эту радость отставки приносит мне смерть, и волнение мое перед смертью – это волнение, конечно же, радостное. А оставляю я все тебе по воле нашего господина, который, перебирая своих слуг, указывает на тебя перстом и прочит тебя в управляющие после моей смерти. Ибо на днях, когда он по доброте сердечной меня навестил и растерянно поглядел на меня, я заговорил с ним об этом и упросил его направить свой перст на тебя одного и окликнуть по имени, когда я сделаюсь богом, только тебя, чтобы я мог умереть спокойно, без тревоги о доме и обо всех делах. «Хорошо, Монт-кау, – сказал он, – хорошо, милый. Я укажу на него, если ты и в самом деле умрешь, о чем я весьма сожалел бы, – не колеблясь, на него и ни на кого другого, это решено, и всякий, кто вздумает меня отговаривать от этого, убедится, что воля моя тверда, как железо и как черный гранит из каменоломен Рехену. Он сам сказал, что моя воля именно такова, и я должен был с ним согласиться. Он вызывает у меня отрадное чувство доверия, у него это получается даже лучше, чем у тебя во времена твоей жизни, и мне часто казалось, что с ним заодно какой-то бог или много богов, которые всё, за что он только ни возьмется, венчают удачей. Пожалуй, он будет еще меньше обманывать меня, чем при всей своей честности ты, ибо он сызмала знает, что такое грех, и как бы носит в волосах украшение жертвы, оберегающее его от греха. Одним словом, это решено, после тебя управлять домом и ведать всеми делами, которыми мне невольно заниматься, будет Озарсиф. На него указывает мой перст». Вот слова господина, я их точно запомнил. А теперь, после того как он благословил тебя, благословляю тебя и я, ибо разве когда-либо поступают иначе? Благословляют всегда только благословенного и желают счастья только счастливому. Ведь и тот слепец в шатре благословил гладкого только потому, что благословение уже и было с гладким, а не с косматым. И ничего большего сделать нельзя. Итак, будь благословен, поскольку ты благословен! У тебя бодрый нрав, ты смело посягаешь на высшее, муки своей матери ты отваживаешься назвать сверхъестественными, а свое рождение без неопровержимого основания девственным, – это признаки благословенности, каковой я не обладаю, а значит, и не могу передать. Я могу только, умирая, благословить тебя и пожелать тебе счастья. Пониже наклони голову, сын мой, под мою руку, голову человека больших устремлений под рукой человека скромного. Я завещаю тебе дом, усадьбу и поле именем Петепра, для которого я управлял ими; поручаю тебе их тук и богатство, чтобы ты распоряжался их службами, запасами их кладовых, плодами сада, крупным и мелким скотом, а также урожаем на острове, расчетами и всякой торговлей; а еще отдаю под твое начало посев и жатву, кухню и погреб, стол господина, довольствие гарема, маслобойные мельницы, виноградные тиски и всю челядь. Надеюсь, я ничего не забыл. А ты, Озарсиф, не забывай меня, когда я сделаюсь богом и уподоблюсь Озирису. Будь моим Гором, который защищает и оправдывает отца, следи за тем, чтоб не стерлась моя надгробная надпись, и поддерживай мою жизнь! Скажи, позаботишься ли ты о том, чтобы Миннеб-мат, пеленальных дел мастер, и его подмастерья сделали из меня отличную мумию, не черную, а прекрасно-желтую, для чего я уже припас все необходимое, – ты присмотришь за ними, чтоб они ничего не прибрали к рукам, а засолили меня чистым натром и взяли ради вечной моей жизни тонкие бальзамы: стираксу, можжевельник, привозную кедровую смолу, а также мастику из сладких фисташек – и закутали мое тело нежнейшими пеленами? Позаботишься ли ты, сын мой, чтобы вечная моя оболочка была красиво расписана, а изнутри сплошь, без единого пробела, покрыта защитными изречениями? Обещаешь ли ты проследить за тем, чтобы жрец Имхотеп, что служит на западе, в городе мертвых, не роздал своим детям запасов хлеба, пива, масла и ладана, которые я оставил ему для жертвоприношений моему телу, дабы отец твой по праздникам всегда имел вдоволь еды и питья? Как хорошо, что ты самым благоговейным голосом обещаешь мне сделать все это, ибо хоть смерть и обычное дело, она влечет за собой большие заботы, и человек должен обеспечить себя со всех сторон. И еще поставь в мою

усыпальницу небольшую жаровню, чтобы челядь жарила для меня бычьи окорока! Прибавь к ним еще гусиное жаркое из алавастра, деревянное изображение кувшина для вина и побольше этих твоих глиняных смокв! Я рад, что ты обещаешь мне это в самых благочестивых и успокоительных выражениях. Поставь на всякий случай возле моего гроба кораблик с гребцами и помести в моем домике нескольких человечков в набедренниках, чтобы они постарались за меня, когда западный бог призовет меня работать на свое плодородное поле, ибо, хотя голова моя и пригодна для обобщающего надзора, сам я не умею орудовать плугом или серпом. О, скольких хлопот требует смерть! Не забыл ли я чего-нибудь? Обещай мне подумать и о том, о чем я не вспомнил, например, позаботься, чтоб вместо сердца в меня вложили прекрасного жука из яшмы, которого мне по доброте сердечной подарил Петепра и на котором написано, что на весах суда мое сердце не должно свидетельствовать против меня! Он лежит в шкатулке тисового дерева, справа, вместе с обоими моими воротниками, которые я оставляю в наследство тебе... Довольно, однако, пора кончать мои предсмертные речи. Ведь всего не предусмотреть, и все равно остается тревога, которую несет с собой сама смерть, хоть нам и кажется, что причина нашей тревоги – это необходимость обо всем позаботиться. Даже незнание того, как мы будем жить после нашей кончины, – это только личина смертной тревоги, только тот облик, который принимает она в наших мыслях, но, как бы то ни было, сейчас это мои мысли, мысли тревоги. Буду ли я сидеть на деревьях, птицею среди птиц? Смогу ли я стать кем захочу – цаплей в болоте, скарабеем, который катит свой шарик, чашечкой лотоса на воде? Буду ли я жить в своем домике, радуясь жертвоприношениям из моего вклада? Или я окажусь там, где светит Ра ночью и где все будет такое же, как здесь, небо, земля, река, поле и дом, а я, по привычке своей, опять стану старшим слугой Петепра? Одни говорят об этом одно, другие – другое, третьи – и то и другое сразу, – и, наверно, одно равнозначно другому, а все вместе нашей тревоге, которая, однако, сходит на нет в хмелю зовущего меня сна. Уложи меня снова пониже, сын мой, ибо я изнемог: на это благословение и на эти заботы ушли последние мои силы. Я хочу отдаться сну, который уже наполняет мою голову хмелем, но прежде чем я предамся ему, мне бы все же хотелось быстренько узнать, свижусь ли я на берегу Нила Запада с Масличным Деревцем, отнятым у меня. Увы, теперь мне приходится думать прежде всего о том, чтобы в последний миг, когда я так хочу опочить, меня опять не схватили и не вернули к жизни судороги. Пожелай мне спокойной ночи, мой сын, как ты это умеешь делать, придержи мои руки и ноги и уйми судороги успокоительным заклинанием! Исполни еще раз изысканную свою обязанность – в последний раз! Нет, не в последний; ведь если на берегу Нила Преображенных все идет так же, как здесь, то, значит, и ты, Озарсиф, окажешься там снова моим подручным и будешь ежевечерне благословлять меня на ночь, каждый раз, благодаря своему дару, приятно разнообразя эту прощальную речь. Ведь ты благословен и можешь одаривать благословением, а я могу только пожелать тебе счастья... Я не в силах больше говорить, друг мой! Кончились мои предсмертные речи. Но не думай, что я тебя уже не слышу!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.